

Всеволод Сергеевич Соловьев

Старый дом



Всеволод Соловьев

Старый дом

«Public Domain»

1883

Соловьев В. С.

Старый дом / В. С. Соловьев — «Public Domain», 1883

«...В одной из самых уютных и красивых комнат старого петербургского дома Горбатовых у маленького столика, на котором был сервирован утренний чай, сидели хозяева – Владимир Сергеевич Горбатов и жена его, Екатерина Михайловна, рожденная графиня Чернова. Владимир Сергеевич, статный и красивый молодой человек лет двадцати шести, удобно раскинулся в низеньком мягком кресле. Его мундир гвардейского офицера был расстегнут, и высочайший воротник, поднимавшийся с двух сторон, скрывал почти половину его свежих гладко выбритых щек, на которых оставалась только маленькая полоска искусно выведенных по моде того времени, у самого почти уха, бакенбард. Молодые тонкие усы были немного подвиты и закручены. Блестящие черные волосы взбиты со всех сторон и зачесаны наперед. Все лицо его, вся высокая, но уже, несмотря на молодые годы, очень полная фигура, делали из него красавца-гвардейца, на которого часто заглядывались женщины. Выражение его темных глаз уловить было трудно, так как он, по привычке, очень часто держал их полузакрытыми...»

© Соловьев В. С., 1883

© Public Domain, 1883

Содержание

Часть первая	5
I. Свои	5
II. Смерть маленького человека	8
III. Птичка	12
IV. Бал	15
V. Это она!	18
VI. В Москве	23
VII. Герой	28
VIII. Ночь	35
IX. Утро	39
X. Виноватый	43
XI. «Генеральша»	49
XII. Закат веселых дней	55
XIII. Дядя и племянница	59
XIV. Что это значит?	63
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Всеволод Сергеевич Соловьев

Старый дом

Часть первая

І. Свои

В одной из самых уютных и красивых комнат старого петербургского дома Горбатовых у маленького столика, на котором был сервирован утренний чай, сидели хозяева – Владимир Сергеевич Горбатов и жена его, Екатерина Михайловна, рожденная графиня Чернова. Владимир Сергеевич, статный и красивый молодой человек лет двадцати шести, удобно раскинулся в низеньком мягком кресле. Его мундир гвардейского офицера был расстегнут, и высочайший воротник, поднимавшийся с двух сторон, скрывал почти половину его свежих гладко выбритых щек, на которых оставалась только маленькая полоска искусно выведенных по моде того времени, у самого почти уха, бакенбард. Молодые тонкие усы были немного подвиты и закручены. Блестящие черные волосы взбиты со всех сторон и зачесаны наперед. Все лицо его, вся высокая, но уже, несмотря на молодые годы, очень полная фигура, делали из него красавца-гвардейца, на которого часто заглядывались женщины. Выражение его темных глаз уловить было трудно, так как он, по привычке, очень часто держал их полузакрытыми.

Катерина Михайловна, или Катрин, как называли ее родные и друзья, молоденькая женщина, лет двадцати, не больше, была похожа на «прелестную птичку», по мнению петербургского света. Маленькая, стройная, с хорошенькой белокурой головкой, с кокетливо приподнятым носиком и бледными, немного влажными глазами, она чрезвычайно нравилась старикам и юношам. Ее утренний туалет, отделанный по последней моде, свежий и изящный, мог бы выдержать какую угодно женскую критику. Маленькие узенькие ножки, выглядывавшие из-под тяжелой, но мягкой шелковой материи платья, были обуты в хорошенькие светлые парижские туфельки и заманчиво выделялись на темном бархате подкинутой мужем к ее креслу подушки. Катрин около трех лет была замужем. Она уже подарила своему мужу первенца-сына, но, несмотря на это, по крайней мере с первого раза, имела вид наивной девочки. Однако по тому, как относились друг к другу, как беседовали между собою молодые супруги, можно было заметить, что в них еще осталось и воспоминание о счастье медового месяца. Когда их взоры встречались, они ничего не передавали друг другу этими взорами. Катрин лениво прихлебывала чай из саксонской чашечки, лениво намазывала масло на тоненькие ломтики хлеба. Владимир Сергеевич по временам позевывал и потягивался.

– Ты отправляешься куда-нибудь, Владимир? – спросила Катрин.

– Конечно, видишь... я в мундире. Сегодня у меня служба, до обеда домой не вернусь. А ты что будешь делать?

– Ах, Боже мой, – протянула она, – как будто у меня мало дел, мало хлопот!.. Ты будто забыл, что у нас завтра бал...

– Я не забыл, но какие же у тебя хлопоты? Распоряжения все сделаны, все устроено, приглашения разосланы. О чем же еще хлопотать – не понимаю!

Она только пожала плечами, сделала полупрезрительную минку и ничего не ответила. В это время в соседней комнате послышались торопливые шаги, и из-за спущенной дверной занавески выглянула сияющая, улыбающаяся, благообразная фигура молодого лакея. Владимир Сергеевич взглянул на него и поморщился.

– Это еще что такое, Степан?! – сурово произнес он. – Без звонка, без спроса врваться сюда, когда раз навсегда сказано... Чего тебе надо?!

– Барин приехал, барин! – торопливо, почти задыхаясь, выговорил Степан, дрожа от волнения и не замечая сурового тона, с которым его встретили.

– Какой барин?

– Наш барин, наш, Борис Сергеевич... Идут сюда!..

И не успели они еще удивиться, как в комнату вбежал и с радостным криком: «Брат!» – обнял Владимира Сергеевича молодой человек, в котором было очень мало с ним братского сходства. Борис Горбатов был на год старше Владимира, но казался моложе его. Он был ниже ростом, худощав. Партикулярное, заграничного фасона платье прекрасно обрисовывало его стройную фигуру. Густые каштановые волосы были зачесаны назад и теперь находились даже в значительном беспорядке. Живые светлые глаза радостно блестели. На бледной тонкой коже лица вспыхивал и тотчас же пропадал слабый румянец. Все это молодое лицо, с тонкими, породистыми чертами, с почти детской, радостной, блуждающей улыбкой, постоянно меняло свое выражение; оно иногда становилось неотразимо привлекательным. Крепко обнявшись и расцеловавшись с братом, Борис Сергеевич поспешил к невестке, взял ее за обе руки и целовал их, повторяя:

– Belle comme le jour, belle comme toujours!..

– Ах, друзья мои, да как же я рад вас видеть! – крикнул он, отрываясь от невестки, опять подбегая к брату и, наконец, опускаясь в кресло.

– А батюшка, а матушка?! Неужели не приехали? Я ожидал их уже застать здесь. Как же вы живете, милые? Что Сережа? Я так себе живо его представляю... Покажите же вы мне его поскорее!..

– Заговорил совсем... Дай же вздохнуть! – с легкой улыбкой произнес Владимир.

– Boris, je vous verse une tasse de the, – своим тоненьким голосом проговорила молодая хозяйка, подсаживаясь к столику.

Лицо ее вовсе не выражало радости свидания – оно ничего не выражало.

– Mersi, Catherine, я с удовольствием выпью и даже съем что-нибудь – проголодался.

– Да объясни же прежде всего, каким образом ты явился? – сказал, подходя к брату и поглядывая на него своими полузакрытыми глазами, Владимир. – Мы ждали тебя не раньше как через неделю. Отчего ты не прислал ни письма, ни депеши с нарочным, чтобы тебя встретить и выслать экипаж?

– Да, видите ли, я и сам не знал, сколько времени пробуду в Варшаве... К тому же я не люблю этих встреч, шуму... Приехал, вышел из дилижанса, сел в наемную карету – и здесь. Так гораздо лучше... Относительно вещей своих тоже распорядился, да их со мною и немного, а большой мой багаж прибудет не раньше как через неделю... Но что же это наши?... Каким это образом их здесь нет? Я ведь наверно рассчитывал... Они мне писали в Берлин, что непременно я их уже застаю в Петербурге.

– Они и нам писали, что собираются. Вот больше месяца собираются, да когда-то будут?! – произнес, совсем почти закрывая глаза, Владимир. – Я думаю, нескоро выберутся, для них ведь это целое событие – приехать в Петербург.

– Ах, как это обидно! – повторил Борис. – Так я, пожалуй, вот что сделаю, если они еще станут мешкать: я сам поеду в Горбатовское и привезу их силой. А что же Сережа? Где он? Да покажи мне его наконец, Катрин?

– Успеешь, он теперь, верно, спит... Вот чай, вот масло! Я сейчас велю готовить завтрак...

Она протянула руку к сонетке и позвонила. Борис с аппетитом принялся за хлеб, масло и чай. Потом вдруг оглядел себя:

– Боже мой, простите, ведь я совсем грязный с дороги!

– Какие комнаты прикажешь тебе приготовить? – спросил Владимир. – Извини, мы не ждали, я сейчас позову Степана, распорядись сам, какие комнаты.

– Да все равно, лишь бы не стеснять вас.

– Вот странно, – пожал плечами Владимир, – приехал барин, барин *par excellence*, как сейчас возвестил Степан... Дом твой – выбирай какое угодно помещение!

Борис с изумлением взглянул на брата.

– Что ты говоришь? Что такое – дом твой? И ты, и я – мы, кажется, одинаково у отца с матерью в доме... Но я был бы очень огорчен, если бы чем-нибудь стеснил вас. Я не знаю, как вы разместились. Мне многого не нужно – две комнаты, и все тут! Только скажи, какие вам совсем, совсем не нужны, туда я и велю снести свои вещи.

– Покажи ему, Катрин! А мне пора.

Владимир взглянул на часы, пожал руку брату, приложился губами ко лбу жены.

– Прикажешь известить Петербург о твоём приезде? – спросил он, останавливаясь у двери и повертывая свою красивую голову с полузабытыми глазами, крепко подпираемую высоким воротником мундира.

– Кому это интересно?! Кто меня тут знает?

Владимир вышел, поправляя шарф вокруг своей талии.

– *Et bien, Boris, je suis a votre disposition*, – слабо улыбнувшись, сказала Екатерина, – пойдёмте!

Он встал. Она оперлась на его руку, и они пошли длинным рядом нарядных комнат.

– Если тебе все равно... Не поместишься ли ты внизу, в комнатах за бильярдной?

– Ах, Боже мой, Катрин, да веди куда хочешь, мне везде будет хорошо под этим кровом!..

Они сошли с лестницы, прошли в комнаты за бильярдной.

Эти комнаты были несколько запущены, в них, очевидно, редко кто заглядывал. Было холодно, даже как будто пахло сыростью. Но Катрин ничего этого не заметила. Она приказала нести сюда вещи Бориса Сергеевича. Потом, отпустив его руку, сделала ему маленький грациозный книксен, улыбнулась ничего не выражавшей улыбкой, шепнула:

– Я тебя жду через час к завтраку, тогда и Сережу покажу...

И скрылась, шурша длинным треном своего утреннего платья.

Борис остался один среди несколько мрачной, обветшалой обстановки старых комнат. Он присел на старинное жесткое кресло в ожидании своих чемоданов и умыванья. Веселое, счастливое настроение духа, в каком он был до сих пор, вдруг почему-то пропало. Ему стало не то грустно, не то как-то неловко, хоть он не отдавал себе в этом отчета.

II. Смерть маленького человека

Наконец внесли чемоданы, а затем появился Степан с полотенцами и другими принадлежностями умыванья.

Этот Степан, расторопный, щеголеватый парень, с некрасивым, но приятным и умным лицом, продолжал, очевидно, находиться в восторженном состоянии по случаю приезда барина.

Он влетел в комнату все с теми же сияющими глазами и блаженной улыбкой. Но вдруг остановился, мгновенно нахмурясь.

– Борис Сергеевич, да что же это, сударь? – смущенно проговорил он. – Зачем же вы тут? Неужто в этих покоях и останетесь?

– Здесь и останусь, Степанушка, – рассеянно ответил Борис.

– Да как же так? Зачем же? Ведь это, почитай, самые негожие покои в доме, тут вот и пыльно, и сыро, и холодно. Извольте-ка, сударь, взглянуть – у стенки-то и по сю пору плесень... Ведь тут у нас что такое было! Страсти!.. Так уж и полагали, что потонем... Чай, слышали... Про наводнение-то наше?

– Как же, слышал...

– Да, сударь, не дай Господи другой раз пережить такого, вспомнить – так дрожь пробирает... Что народу погубило, добра всякого! И не счесть... Вот и у нас – весь ведь нижний этаж затопило, потом была работа! Высушивали, высушивали, а плесень нет-нет и покажется... Насырело... Размокло... Шпалеры-то переменили – да оно вот насквозь... Гляньте-кось... Вот, вот она... Ишь ты: ровно вата... Кабы знать, так топить давно надо было, а то в кои-то веки тут и топили – потому никто не живет, никто не заглядывает.

– Так распорядись, чтобы натопили к вечеру, пыль чтобы хорошенько вымести, кровать мне вот сюда поставь, ширмы... погоди, вот умоюсь, позавтракаю, так я тебе сам покажу, как все устроить. Здесь мне будет отлично, покойно, – говорил Борис, снимая свой длинный сюртук и засучивая рукава для умыванья.

Но Степан никак не мог успокоиться.

– Как же это? Как же? – повторил он. – Барин домой приехал, а ему словно и места нету, в этаком-то доме... Ведь у нас сколько места! Заняли бы, сударь, ваши покои наверху, там теперь столпотворение вавилонское – завтра бал у нас будет, так все вверх дном перевернуто. Столы карточные в ваших покоях наставлены, для гостей, по приказанию Владимира Сергеевича. Да это пустое! Для столов найдется место – зачем ваши покои занимать! Прикажете, через час времени все сделаю и в лучшем виде вашей милости все устрою, как до отъезда вашего было...

– Оставь, надоел! Сказал ведь: здесь останусь. Тут мне спокойнее будет. Лей больше воды на голову!

Степан замолчал и, схватив большой кувшин с водою, стал помогать барину умываться. Сбежавшее с его лица выражение радости снова вернулось. В малейшем движении его – в том, как он подавал умываться, как он лил воду, как он глядел на барина – видно было, что он прийти в себя не может от радости.

Борис кончил свое умыванье, дал Степану ключ от чемодана; затем они вынули белье, платье. Степан осторожно, заботливо, почти с ловкостью и ухватками опытной камеристки помогал своему господину.

– Ну, Степушка, – говорил, одеваясь, Борис, – вот и опять ты в должности моего камердинера.

– Опять, Борис Сергеич, слава тебе, Господи!

– Да что, может, у тебя тут дело какое?! Ты к чему-нибудь приставлен?

– Никакого, сударь, мне нет дела. Сами знаете, сколько нас в доме народу. Вас вот дожидался да мыкался из угла в угол – тут и все мое дело! А уже теперь дозвольте к службе своей вернуться, ходить за вами.

– Хорошо, я так и рассчитывал. Был у меня в чужих краях француз, честный человек и ловкий, просился, чтобы я взял с собою, а я все же его обратно на родину отправил в расчете на тебя.

Степан даже вздрогнул.

– Признаюсь, сударь, уж как я этого боялся! Иной раз взбредет в голову: а ну как барин вернется, да с немцем каким али там с французом, что тогда будет! Уж вот бы обидели – не перенес бы, кажется, такой обиды. Оно, конечно, я простой человек и у парикмахера-француза, вот как Петрушка, что при Владимире Сергеиче, не был, а Бог даст не хуже его головку вам причешу по самому модному. Высматривал я тут, как это господа знатные одеты да причесаны – в грязь лицом не ударю...

– Не хвастайся, Степушка, нужды в том нету, – ласково сказал Борис. – Ты знаешь, я не привередник. А привычки мои все тебе известны, с детства мы с тобою... в один день и родились. А вот что ты мне скажи – и говори правду. Вы ведь когда приехали из Горбатовского? Месяца три будет?

– Около того, сударь. Да... так оно и есть – вот-с в четверток аккурат три месяца будет.

– Скажи, как там в Горбатовском? Батюшка, матушка здоровы?

– Здоровы, Борис Сергеич, совсем как есть в полном здоровье, как при вашей милости были. И все в Горбатовском обстоит благополучно... только вот крестного нету...

Степан вдруг запнулся.

Борис вскочил с кресла, на котором сидел перед туалетным зеркалом, завязывая себе галстук.

– Что?! Что ты говоришь?! Как нет Степаныча! Что же он – умер?!

– Скончался! А разве вы о том неизвестны? – изумленно произнес Степан.

– Когда? И никто не написал мне ни слова!

– Не написали! Вот ведь оно дело какое!.. Видно, огорчать господа не желали, а я-то, дурак, и проболтался сразу, в первую минуту встретил приятной вестью!

– Хорошо, что сказал, зачем скрывать, – говорил Борис, в волнении ходя по комнате. – Бедный Степаныч!.. Когда же это?

– А летом еще, перед самым Успеньем.

– Как он умер? Расскажи!

– Да уж так это неожиданно для всех нас было! Оно, конечно, годы крестного большие и сколько ему лет было, про то никто не знает. Только ведь у нас в Горбатовском, вам, сударь, ведомо, испокон веков толковали: Моисей, мол, Степаныч – человек особенный – карлик, и веку ему не будет – все таким останется. Говорили, вон, будто ему за двести лет уже перевалило – да ввали, чай?!

– Конечно, ввали, – заметил Борис, – кто же это теперь по двести лет живет?! Однако сколько ему лет? Пожалуй, около восьмидесяти было, только ведь он ни на что не жаловался. Какая же такая у него болезнь оказалась?

– Да никакой болезни, сударь; каким был года два тому, таким и остался. Ничего мы в нем не примечали особого. Только вот иной раз слабость с ним будто делалась. Помните, бывало он тихонько и пройти-то не может – все бегаёт, а тут вдруг выйдет из своего покойчика шажками такими маленькими, потолкует с нами. И голос у него такой слабенький стал: иной раз слово скажет – так даже расслышать трудно. А как лето пришло, все больше в саду перед домом сидел, на солнышке; часов пять сидит – не встает с места. Подойдешь к нему, как господ никого на террасе нет; он рад. Прикажет сесть рядом с собою на скамью. «Сядь, говорит, крестничек». И сейчас о божественном поучает меня. А то частенько о вашей милости говорил. «Что-то,

мол, наш Борис Сергеич в чужих краях подельывает?» И чужие края начнет описывать. Все-то он знает, везде был, всяких ужасов на своем веку навидался! Чай, помните, сударь, как он нам про Париж да про революцию их сказывал?

– Как же не помнить! Господи, все помню! Бедный... милый Степаныч!

Борис сморгнул набежавшую слезу.

– Но вот после Спаса, – продолжает Степан, – вижу я, что крестный что-то из покойчика своего не выходит. Стал я частенько к нему заглядывать. И как к нему ни зайду – вижу: молится... целый-то день молится! Я ему и говорю: «Крестный, ты бы в сад вышел, теплынь такая, благодать. А коли неможется или ноги болят – дай я тебя на руках вынесу». А он мне: «Нет, говорит, Степушка, оставь ты меня, дай мне помолиться... Грешен я очень, не замолить мне, видно, грехов моих».

– Грешен! – с печальной улыбкой проговорил Борис. – Да, я думаю, он во всю жизнь свою не согрешил!.. Совсем святой человек был Степаныч...

– Это точно, сударь, – серьезно и торжественно заметил Степан. – Господь Бог ему и смерть праведную послал. Накануне Успенья было... Господа чай кушали... утром, в большой столовой. День был дождливый такой. Я у стола прислуживал. Вдруг гляжу – входит крестный и никакого такого в нем больного и слабого вида; вошел так бодро. Сейчас, как и всегда, у старой барыни у Татьяны Владимировны ручку поцеловал. Потом к Сергею Борисовичу подошел – поздоровался и стал обходить всех. Владимир Сергеич и Екатерина Михайловна тут были... и гости приезжие. Сергей Борисыч сами ему стул возле себя подвинули.

«Садись, говорит, Степаныч, откушай с нами чаю».

Старая барыня ему налила чашку, я подал. Крестный подобрался, вскарабкался на стул да и говорит:

«Спасибо, говорит, золотая моя Татьяна Владимировна, – (ведь он маменьку всегда золотой называл) – спасибо, откушаю я с вами чай в последний раз – проститься пришел».

А Сергей Борисыч засмеялся.

«Как проститься? Куда это ты собрался, Степаныч?»

«На тот свет, говорит, к Богу, отчет в грехах отдать – давно уж пора».

И так сказал это степенно да важно, что ажно мне жутко сделалось. Вижу – и все притихли, смотрят на него. А маменька и говорят:

«Полно, Степаныч, почему такие мысли! Еще, даст Бог, поживешь с нами. Зачем тебе умирать, ведь ты здоров!»

А у самих, слышу, голос дрожит.

«Нет, – отвечает крестный, – не пустые слова говорю, верно сказал: пришел проститься... ныне до всеобщей отойду и на суд предстану... Вот чайку выпью – вчера весь день постился. Погляжу еще на вас, мои золотые...»

Да и замолчал. Чай начал прихлебывать, и все так спокойно. Господа сидят кругом... смех до того был, веселые разговоры, а тут ни смеху, ни разговорам. Перешептываются господа, да и опять на крестного смотрят. Допил он свой чай, опрокинул на блюдечко чашку.

«Будет, – говорит, – спасибо, матушка, спасибо, золотая».

Подошел к барыне, ручку поцеловал, барина в плечико – и вышел, бодро так вышел. Стали господа говорить, и Сергей Борисыч и Татьяна Владимировна, что напугал их крестный. Гости и молодые господа успокаивают. Так, мол, старику почудилось, здоров он и жив будет. Только Сергей Борисыч приказали мне сбегать к доктору Францу Карлычу и привести его к крестному. «Сам, говорят, тоже туда сейчас приду». Я скорым манером за Францем Карлычем. Привел его, а у крестного уж барин сидит. О чем они до нас беседу вели – не могу знать, только вижу: у барина глаза как бы немного заплаканы. А крестный сидит в своем маленьком кресельце важно и спокойно. Франц Карлыч начал его расспрашивать. Ощупал всего, ухо к груди да к спине прикладывал, за руку держал, на часы смотрел долго. А потом и говорит:

«Пустое, никакой в нем болезни. Но, само собою – года древние – не то, что молодость. А не только что смерти, даже и болезни никакой не предвидится».

Отпустил барин Франца Карлыча, а сам остался. Я тоже у двери стою. И вдруг вижу – крестный улыбается, так ласково, будто малый ребеночек, – чай, помните – у него улыбка такая была, – улыбается да головой качает.

«Сергей Борисыч, говорит, и к чему это ты немца ко мне призвал, растормошил он меня, старого, даром только. Ну, стану я тебя обманывать! И неужто ты немцу больше моего поверишь... Что он знает?! Что может он знать?! До всенощной не станет меня – это верно. Только ты не горюй, батюшка, чего горевать – радоваться надо. Долго я жил на свете, на покой пора. Оно точно, и мне мысли о суде страшны были, да Господь меня подкрепил верою в Его милосердие, и готовился я, как мог, к ответу...» И вдруг обратился ко мне да и говорит: «Степушка, а ты вот что: сходи к батюшке да скажи – мол, так и так, крестный помирать собирается. Надеюсь, мол, сам сходить исповедаться нынче, а завтра, в день Успенья Пресвятой Богородицы, за литургию причаститься Святых Тайн – да Господь не привел... Не доживу и до всенощной, и идти не могу...»

Сказал это, а сам силится приподняться с кресельца, да тут же и упал назад. Побежал я к батюшке. Тот сейчас же собрался. Крестный долго так исповедывался, потом батюшка приобщил его Святых Тайн. Перенесли мы с барином его на кроватку. Созвал он всех. Весь покойчик его народом наполнился. Барыня Татьяна Владимировна и барин на коленках у кровати стояли. Благословил их крестный, да и говорит таким слабеньким, тихеньким голосом:

«Спасибо, золотые... ждать буду – свидимся». Потом поманил Владимира Сергеевича... и его благословил. Меня благословил тоже и показывает глазами на господ.

«Служи, – это мне он шепнул, – будь слуга верный, себя не жалея».

А потом вас, сударь, вспомнил: «Боречке мой поклон передайте, не привел Бог свидеться. Пошли ему Господь всякого счастья, моему голубчику».

Сказал это, перекрестился, сложил на груди ручки, вытянулся как-то весь, вздрогнул... Смотрим мы – а он уж и не дышит...

И верите ли, сударь, может, с полчаса времени: как все в ту пору стояли, так никто и не шелохнулся! Барыня всплакнула было да и остановилась, слезы вытерла... И никто не плакал... И так это было чудно как-то, тихо так... не умею вам и сказать... будто Бог был с нами...

Степан замолчал. Молчал и Борис.

Ему так живо вспомнилась крошечная фигура карлика, когда-то принадлежавшего императрице Елизавете, потом подаренного Петром III его деду, Борису Григорьевичу Горбатову, карлика, вынянчившего его отца, бывшего всю жизнь его хранителем и другом, сыгравшего большую роль в его тревожной юности, наконец, бывшего пестуном и Бориса и Владимира.

Этот карлик представлялся теперь Борису не слугой и не низким, а уважаемым, любимым другом их дома. С этим карликом соединены были самые лучшие воспоминания его детства. Этот карлик вместе с матерью был его воспитателем. Он внушил ему силою своего убеждения глубокую веру в Бога, которая никогда не покидала Бориса.

Однако пора было прервать эти печальные и милые воспоминания – Катерина Михайловна, верно, уже ждала с завтраком.

Борис направился к двери.

– Вот, сударь, – сказал Степан, вдруг подходя к нему и глядя на него как-то странно светящимися глазами, – крестный завещал служить, себя забывать для господ... Я стараюсь... видит Бог... Только, Борис Сергеич, ведь вы мой настоящий и единый господин... дозвоьте же навсегда нераздельно служить вам. А я... (голос его задрожал) я жизнь свою положу за вас!..

– Знаю, Степушка! – тоже совсем растроганный проговорил Борис.

И вдруг, богатый и знаменитый барин, наследник знаменитого, прославленного историей имени, и крепостной раб невольно, в общем порыве обнялись как братья.

III. Птичка

Когда Борис вошел в столовую, его невестки еще там не было. Но стол уже был сервирован на два куверта, и два почтенного вида официанта, обшитые позументами с вытесненными на них гербами, бережно держали блюда, прикрытые серебряными крышками, из-под которых пробивался пар, приятно щекотавший обоняние. При входе Бориса лица этих официантов вдруг оживились. Оба они, будто сговорившись, быстро поставили блюда на стол и кинулись к Борису, лоя и целуя его руки.

– Борис Сергеич, слава тебе, Господи, дождались мы тебя, сударь! В добром ли здоровье?! – радостно говорили они.

В это время из соседней комнаты донесся голосок молодой хозяйки. Официанты отбежали от Бориса, снова каждый бережно поднял свое блюдо и вытянулся в струнку. Катрин вошла в столовую уже в новом, еще более изящном туалете.

– Надеюсь, я не заставила тебя ждать, Борис, я очень спешила переодеться, помня, что ты голоден. Мы никогда так рано не завтракаем. Подавайте! – обратилась она к официантам, присаживаясь у стола.

Крышки с блюд были сняты. Произведения горбатовского повара, искусство которого было известно всему Петербургу того времени, появились во всей своей привлекательности, способной возбудить аппетит даже в сытом человеке. А между тем Борис мало обращал внимания на эти чудеса кулинарного искусства.

Катрин заметила это.

– Что же это значит? – сказала она. – Ты почти ничего не кушаешь.

Она пристально на него взглянула.

– Да у тебя совсем расстроенное лицо?!

– Невеселую новость я здесь встретил, – тихо отвечал он. – Степаныч скончался... и никто и не известил меня об этом...

– Кто же это теперь поспешил огорчить тебя – наверное, Степан?

– Да, он все рассказал мне.

– Ты как будто упрекаешь, что мы не известили; но это было решено еще в Горбатовском на общем совете, *mon père* и *ma mère* так решили. Зачем было тебя тревожить! Хотя я, право, изумляюсь такому твоему огорчению, которое даже лишает аппетита... Ведь он был очень стар, ваш карлик, и потом, ведь он же тебе не отец, не брат, он был только слуга. Право, это изумительно! Вы все... и *mon père*... и *ma mère* тоже...

Борис с изумлением глядел на нее. Она продолжала.

– Этот ваш карлик просто отравил мне целое лето! Он был такой несносный, иногда даже груб. Да, серьезно, он просто мне дерзости делал! А за ним ухаживали, как за большим баринном. А когда умер, так ведь это такой мрак во всем доме сделался... ни с кем слова сказать нельзя было, даже Владимир, несмотря на все свое благоразумие, заразился общим настроением. Я не знала, куда мне деваться... и, главным образом, вследствие этого поторопила наш приезд сюда.

– Тебе, пожалуй, простительно, Катрин, изумляться отношению нашего семейства к этому человеку, но все же ведь ты знаешь, кем он был и для отца, и для матери, и для нас.

– Знаю, рассказывали мне разные истории, приключения этого карлика. Но, насколько я понимаю, он всегда только вмешивался в жизнь господ и все путал...

– Лучше перестанем говорить об этом, – перебил ее Борис, – я приехал не затем, чтобы ссориться с тобой.

– А ты можешь со мной поссориться из-за такого вздора?

– Очень могу.

Катрин надула губки.

В это время в столовую вошли две нянюшки, ведя за руки крошечного годовалого мальчика, который быстро переступал толстыми ножонками, то и дело закидывая назад темную курчавую головку и звонко выкрикивая все одно и то же, но совсем непонятное слово.

Борис встал, шумно, отодвинув свой стул, и через мгновение был уже на корточках перед ребенком, принимая его от нянек и повторяя:

– Вот он какой, вот!

Мальчик сразу изумился, испугался даже, отбросился назад. Хотел было закричать, но, не закончив и первой отчаянной нотки, вдруг рассмеялся, пуская пузыри своими сочными губками. Он нисколько не сопротивлялся, когда Борис, крепко обхватив его, высоко поднял над собою и потом стал целовать, щекотать и тискать.

– Вот так, вот так, – приговаривал он, – с первой же минуты познакомились, и друзья, и понимаем друг друга! Ведь правда, Сережа? Ах, да какой же ты милый! Какой умный, какой хорошенький!

И он опять целовал его, щекотал и тискал. Мальчик смеялся, отдувался и уже запустил обе толстенькие ручонки с ямками и перехватами в густые волосы дяди.

Это была такая прелестная сцена, что даже Катрин перестала сердиться и глядела, ласково улыбаясь.

– Да перестань, ведь ты его задушишь! Право, ты сам еще совсем ребенок!

Наконец Борис передал мальчика нянькам. Катрин подошла к сыну, поцеловала его, пригладила ему волосы и произнесла своим тоненьким, но властным голоском:

– Уведите!

Няньки и ребенок исчезли.

– Вот это хорошо! – сказал Борис, снова принимаясь за завтрак.

– Что хорошо?

– Хорошо – такой ребенок!

– Конечно, недурной! – не без некоторого самодовольства заметила Катрин. – Но если бы ты знал, сколько теперь уже с ним хлопот... Что же дальше будет?!

– Разве ты тяготишься этими хлопотами?

– Нет, конечно, нет. Я так только сказала. Однако, Борис, – прибавила она, – я все жду, когда ты станешь рассказывать. Ведь два года прожил в чужих краях, ведь много интересного?

– Подожди, все, что тебе может быть интересно, узнаешь. А сразу так – приехал и начинай рассказывать, этого я совсем не умею. Вот ничего даже на ум не идет, что бы такое тебе рассказать.

– В таком случае пойдем, я тебе покажу наши приготовления к завтрашнему балу. Ведь у нас бал завтра. Пойдем в большую залу, там теперь устанавливают растения. Я хочу, чтобы вся зала была в зелени. Сейчас проходила, больше половины уже готово – и это очень красиво!

– Пойдем!

Они направились в залу, которая, действительно, представляла теперь подобие сада. Громадные экзотические растения высились почти к самому потолку.

– N'est ce pas que c'est gentil? – говорила, любуясь, Катрин. – Puis il y aura des fleurs... des fleurs partout! Я нарочно выжидала и до сих пор не делала бала для того, чтобы наш бал был лучшим в эту зиму.

Она оживилась. Глаза ее заблестели. Она защебетала, не умолкая почти ни на минуту, и сделалась совсем похожей на «птичку». Из залы они стали обходить комнату за комнатой. Катрин показывала прекрасную бронзу, японские вазы и другие вещи, купленные в отсутствие Бориса. Она с наслаждением доказывала, что вот таких канделябр, за которые заплачена баснословная сумма, нигде нет и что такая и такой-то завтра с ума сойдут от зависти, когда их увидят.

Вообще она была вся в завтрашнем дне: он должен был доставить ей торжество, и о нем долго будут говорить в Петербурге.

Борис слушал ее рассеянно, иногда даже не слыша того, что она говорила. Ему становилось очень скучно. Он начинал чувствовать усталость, у него почти кружилась голова от этого несмолкаемого щебетания. На его счастье, Катрин доложили о каком-то визите. Она сделала, обращаясь к Борису, мину, обозначающую: «Как это скучно!» – и, радостная и сияющая, упорхнула в одну из гостиных.

Скоро вернулся домой Владимир. Отыскав брата, он взял его под руку и повел в свой кабинет, огромную комнату, заставленную разнообразной дорогой мебелью и совсем не указывавшую на род занятий ее хозяина. На письменном столе лежало достаточное количество бумаги, но бумаги чистой. Лежало несколько книг, но не разрезанных.

– Знаешь, – сказал Владимир, – ко мне подошел великий князь, и я ему сообщил о твоём приезде. Он был очень милостив, велел тебе кланяться и спрашивал, что ты намерен делать.

– Что же ты ему ответил?

– Что ты намерен служить, продолжать начатую службу, запасшись в чужих краях новыми знаниями и опытом. Что же иное я мог ответить?! Да и, надеюсь, – я сказал правду? Ведь не думаешь же ты выходить в отставку, ты уже и так потерял много времени – целых два года!

Борис неопределенно улыбался.

– А ведь я еще не знаю, – проговорил он, – быть может, и в отставку выйду – там видно будет. Меня служба что-то не тянет при теперешних обстоятельствах.

– Да, обстоятельства тяжелые... Аракчеев доходит до последнего; но служить все же надо, надо делать карьеру – да и обстоятельства могут перемениться.

– Могут перемениться! – задумчиво повторил Борис. – От этого я и говорю: там видно будет. А как твои дела – кажется, хорошо?..

– Недурно, – самодовольно сказал Владимир, – понемногу подвигаюсь. Да, я вижу, что моя женитьба, действительно, принесла мне пользу: без помощи родни Катрин мне было бы трудно пробиться. Отец никогда не подумал о том, что ему следовало, если уж не для себя, то хоть для нас, поддерживать прежние связи.

Борис вспыхнул.

– Отцу об этом нечего было думать, – сказал он. – Он много думал о нас, сохранив для нас незапятнанным старое честное имя и богатство наших предков.

– Да, конечно, конечно, – перебил Владимир, – я ни в чем его не обвиняю... Он меня не стесняет средствами.

И вдруг их разговор замер. Обоим стало неловко. Эти неловкости часто появлялись между ними в разговорах с глазу на глаз и появлялись уже давно, с тех пор как они вышли из отроческих лет.

– Как ты нашел Катрин? Как нашел мальчика?

– Мальчик твой – прелесть! И ты очень счастливый человек!

– Тебе никто не мешает быстро достичь такого счастья, – заметил Владимир.

Но Борис будто не расслышал этого замечания и продолжал:

– А Катрин – что же я могу сказать тебе? Она еще похорошела... Она, кажется, очень довольна и счастлива?!

– Да, вероятно, она счастлива, я, по крайней мере, ее счастьем не мешаю...

И опять им стало неловко.

IV. Бал

Катрин торжествовала. Она достигла своей цели. Ее бал, без всякого сомнения, будет признан самым блестящим балом сезона. Напрасно бы ее враги и недоброжелатели (она думала, что таких у нее много) старались к чему-либо придраться, что-нибудь осудить, найти в чем-нибудь недостаток – придраться положительно было не к чему...

Старый дом Горбатовых, со своими анфиладами величественных комнат, изукрашенный, весь наполненный предметами роскоши и вкуса, ярко горел бесчисленным количеством свечей и карселей. В огромной зале, с эстрады, скрываемой тропическими растениями, уже время от времени раздавались отрывистые звуки настраиваемых инструментов. Танцы еще не начинались.

Толпа блестящего общества с каждой минутой прибывала и наполняла парадные комнаты. Матовая белизна обнаженных женских плеч, блеск драгоценных камней перемешивались с золотом военных мундиров, со звездами и лентами.

Здесь собралось все высшее общество столицы.

Молодой хозяин не сходил со своего поста, встречал гостей. И, глядя на него, сразу можно было убедиться, что он исполняет свои обязанности с полным пониманием дела. Встречая без исключения всех улыбками и любезными фразами, он, тем не менее, придавал этим улыбкам и фразам бесчисленное разнообразие оттенков. Каждый и каждая получали от него именно то, что заслуживали – по крайней мере, по его мнению. От фамильярного кивания головы, от торопливого, немножко небрежного протягиванья двух пальцев он переходил к сдержанному поклону, полному чувства собственного достоинства. Затем вдруг совсем расцветал и благодарно взглядывал своими то и дело полузакрывающимися глазами на какого-нибудь сановника или высокопоставленную даму. Он шептал о том, как счастлив видеть их у себя в доме, со скромностью умного молодого человека, сознающего свою молодость.

Юная хозяйка тоже хорошо изучила науку приема гостей по рангам. Она щебетала, как птичка, рассылая направо и налево детские невинные улыбки. И только краска, то вспыхивавшая, то потухавшая на ее щеках, и быстрый, беспокойный взор, время от времени бросаемый ею по направлению ко входным дверям, указывали на ее волнение. Да, она сильно волновалась! Перед нею стоял мучительный вопрос: будет кто-нибудь из высоких гостей или не будет?.. Удача или неудача? Жизнь или смерть? Еще четверть часа – и все решится: или полное торжество, или все труды и заботы пропали даром. Еще четверть часа – и, Боже мой, ведь она, пожалуй, будет побеждена врагами, будет осмеяна, чуть ли не опозорена.

Вот будто какое-то движение там, впереди, откуда она ждет спасенья или гибели. Она вся насторожилась, слушает, смотрит. Сердце ее так и стучит под низко вырезанным корсажем прелестного парижского бального платья. Грудь ее высоко поднимается. Даже обнаженные нежные плечи нервно вздрагивают, приводя в движение массивное бриллиантовое кольцо, которое так и горит всеми цветами радуги, придавая еще более красоты ее хорошенькому детскому личику. Но вдруг ее взгляд мгновенно потухает, по всем чертам пробегает выражение некоторого разочарования. Однако все же она делает над собою усилие, тут же озаряется сияющей улыбкой и, кокетливо склоняясь, спешит навстречу входящему твердой военной походкой генералу, увешанному орденами и звездами, на ходу потряхивающему густыми эполетами.

– Ah que c'est aimable de votre part, comte, de ne pas nous oublier! – говорит она генералу, протягивая ему руку.

Он еще и еще встряхивает эполетами, склоняется к ее руке, целует ее, причем его старые щеки, подпертые высоким воротником, багровеют, а под нафабранными усами складывается любезная улыбка.

– Vous oublier, madame, – говорит он густым голосом, отвратительно произнося по-французски, – mais c'est impossible... pour chaque mortel!

Он отходит от нее, чтобы не мешать ей приветствовать новых гостей, и, остановившись на мгновение и оглядевшись, идет по направлению к танцевальной зале. Он выставляет вперед свою высокую грудь, украшенную всевозможными знаками отличия, старается придать величественную осанку своей несколько обрюзгшей фигуре, старается изобразить на своем лице важность. Но это ему плохо удается и скоро надоедает. Лицо его принимает мало-помалу обычное добродушное и простоватое выражение. Он ласково отвечает на обращаемые со всех сторон к нему почтительные поклоны; пожимает направо и налево руки иногда даже незнакомых людей. Впрочем, таких здесь мало. За ним идет шепот, его провожают иной раз улыбки, в которых уже не заметно только что выраженной ему почтительности.

А между тем это герой – любимец солдат, гроза врагов, человек, закаленный под градом пуль, закопченный в дыму пороха, русский Баярд, как его называют, – это граф Милорадович. Но герой Отечественной войны во дни внешнего мира, которые оказались далеко не мирными, пожелал отличиться на ином поприще, не задумавшись о том, были ли у него для этого поприща необходимые способности, – теперь он петербургский генерал-губернатор и чуть не ежедневно портит свою блестящую репутацию нераспорядительностью, легкомыслием и даже ленью...

Катрин вся в ожидании. Она ежеминутно взглядывает на часы, которые стоят в нескольких шагах от нее на камине. Она почти сама не понимает, что говорит подходящим к ней мужчинам и дамам.

«Пора, давно пора! – мучительно думает она. – Ведь не может же быть, чтобы не приехали, ведь еще после обеда cousin Nicolas приезжал прямо оттуда и сказал, что собираются... Ну, а что, если вдруг что-нибудь помешало? Мало ли что может помешать!»

Она вспоминает, что вот уже несколько дней, как в придворных кружках говорят о серьезном нездоровье императрицы Елизаветы Алексеевны. «Но ведь тот же cousin Nicolas, который все знает по своему положению при дворе, говорил, что ей лучше, что это вовсе не какая-нибудь определенная и опасная болезнь, а просто общая слабость, в которой поможет перемена климата. Но мало ли что может помешать! Быть может, кто-нибудь нарочно, кто-нибудь из врагов постарался! Ведь вот уже половина одиннадцатого скоро!.. Давно пора начать танцы... Если не приедут... что же тогда?!. Тогда я... я умру!..» – закончила Катрин свои мрачные мысли. Она совсем побледнела. На ее глазах навертывались слезы, у нее начинала кружиться голова.

«Боже! Какое счастье! Они! Они!!..» – едва сдерживая себя, чтобы не крикнуть громко, и внезапно оживляясь, решила Катрин.

В дверях комнаты показался молодой человек в генеральском мундире, с некрасивым, но умным и в то же время добродушным лицом, с ясными глазами, глядевшими зорко и пристально. Он вел под руку стройную, совсем еще юную даму, прелестные черты которой были будто выточены из мрамора. Катрин поспешила навстречу входившим, сделала глубокий, грациозный реверанс. Юная великая княгиня Елена Павловна ей ласково улыбалась, протягивая руку. Михаил Павлович любезно стал извиняться, снимая с себя вину и во всем обвиняя свою молодую супругу.

Катрин нанизывала одну за другой изысканные фразы, перебегая сияющим взглядом с великой княгини на великого князя. Недавнего томления как не бывало, мучительная тяжесть спала с плеч. Она вдруг расцвела своей детской красотой, будто выросла на полголовы и направилась с высокой четой в залу, где их встретили вдруг грянувшие с невидимой эстрады веселые звуки вальса.

Катрин остановилась в победоносной позе, с горделиво приподнятой головой, окидывая быстрым взглядом блестящее собрание. Через минуту к ней подошел великий князь и покло-

нился ей. Она приподняла свою тоненькую нежную руку, скользнувшую по рукаву его мундира, с детской счастливой улыбкой склонила голову почти к самому его плечу и, легкая, как птичка, помчалась с ним по зеркальному паркету громадной залы. За ними мчались длинной вереницей другие пары.

Все закружилось. Звуки оркестра постепенно усиливались, будто подступали к самому сердцу, рождая в нем какое-то волшебное ощущение. Катрин казалось, что она отделяется от пола, что она несется со своим кавалером и воздушном пространстве, что вокруг нее не хорошо знакомая ей старинная зала горбатовского дома, а тропический лес. Потолок исчезает, открывается бесконечно сияющее пространство. Огромные пальмы склоняются над нею, душистые гиацинты и розы дышат ей навстречу ароматом. Мириады сладкоголосых птиц поют ей свои волшебные песни. И она несется дальше и дальше, выше и выше, впереди воздушного роя сильфид и эльфов.

Но вот она спустилась на землю. Великий князь привычно и ловко придвинул ей легкий золоченый стул. Она опустилась на него, послав благодарную улыбку своему кавалеру, и стала обмахивать веером разгоряченное лицо и плечи. Она мигом забыла и тропический лес, и рой сильфид и эльфов. Она следила за удалявшимся от нее кавалером, отыскивая глазами великую княгиню. Она снова была полна забот и волнений.

Ведь он не пригласил ее еще на первый контрданс. Но он непременно должен протанцевать его с нею: ее самолюбие не может быть удовлетворено этим вальсом.

Вот он подошел к ее мужу. Он протягивает руку Борису, говорит с ним, чему-то смеется. Потом отходит к Милорадовичу и смеется еще больше... Вот он среди дам. Пары танцующих заслонили, ничего не видно. Она приподнимается. Она должна быть ближе, должна быть на глазах, чтобы ее не забыли пригласить.

Но в это время к ней подходит молодой красивый офицер. Опять вальсировать! А отказать невозможно. С едва заметной мимолетной гримасой она легким наклоном головы дает свое согласие. Она опять мчится, но уже не в воздушном пространстве, не среди тропического леса. Ее маленькие ножки, едва касаясь пола, скользят машинально выделявая па, а глаза все ищут кого-то.

– *Assez, monsieur, ej suis fatiguée*, – шепчут ее губы.

– *Pardon, madame!*

Слава Богу, великий князь подходит к ней и приглашает ее... на второй контрданс.

На второй! Она бледнеет, голос ее дрожит при ответе, с ней чуть не делается дурно. Но она сдерживается. Она еще горделивее, еще победоноснее поднимает свою головку, а в сердце бушует злоба и беспредметная ненависть.

«С кем же?! С кем же?!..»

V. Это она!

Между тем великий князь, конечно, никак не мог себе представить, какое оскорбление нанес хорошенькой хозяйке, какой ад возбудил в душе ее. Зная женское самолюбие, он именно хотел поступить так, чтобы ни хозяйка, ни другая высокопоставленная молодая дама не могли считать себя обиженными. Сделав первый тур вальса с Катрин, он затем хотел показать, что здесь, в частном доме, не должно быть этикета и споров за первенство. Он решился танцевать первый контрданс с кем-нибудь, с первой молодой женщиной или девушкой, которая попадется ему на глаза.

Так он и сделал. Обойдя залу, он заметил несколько одиноко сидевшую девушку в довольно простом, но изящном белом наряде. Никакими особенными украшениями эта девушка не постаралась возвысить свою красоту. В ее темные волосы, довольно гладко причесанные, были вколоты две белые розы, на шее скромная жемчужная нить, небольшие жемчужные серьги в ушах – вот и все.

Но в этом скромном наряде она была великолепна. Высокая, стройная, плечи и руки немножко худощавы, но безукоризненных очертаний. Она сидела, опустив маленькую прелестную голову с правильными тонкими чертами нежного, бледного лица. Большие темные глаза ее глядели мягко и задумчиво. На вид ей было года двадцать два, быть может, меньше. Во всей ее прекрасной фигуре можно было подметить не то некоторую болезненность, не то утомление.

«*Mais elle est vraiment bien belle*», – подумал великий князь.

Он круто повернул, подошел к ней и спросил, свободен ли у нее первый контрданс. Она подняла на него задумчивые глаза, потом встала, причем еще более выказала свой прекрасный рост и грацию, и отвечала ему мелодическим голосом, что она свободна.

– В таком случае позвольте мне танцевать с вами.

Она поблагодарила спокойно и даже, может быть, чересчур равнодушно. Великий князь отошел.

Не прошло и мгновения как она была окружена дамами, за минуту перед тем не обращавшими на нее внимания.

– *Mademoiselle Lamzine, qu'est ce qu'il vous a dit, le grand duc?*

– *Le grand duc m'a engege pour une contredance*, – отвечала она тем же спокойным и равнодушным голосом.

– *Pour laquelle?*

– *Pour la première.*

Эффект был полный.

«*Mademoiselle Lamzine*» вдруг сделалась предметом самого нежного внимания. Пожилые дамы стали говорить ей о ее красоте. Молодые глядели на нее с завистью, но в то же время шептали ей нежные фразы. А потом, отходя от нее, передавали друг другу на ее счет такие замечания:

– Однако же ведь это ужасно – больше не существует настоящее общество! Его нигде найти невозможно...

– Да, это правда, всюду втираются неизвестно откуда... *des parvenues*.

– Какие-то племянницы! Какие-то бедные воспитанницы... *Dieu sait qui!*

– Хоть бы тетка одела ее прилично, старая скряга! Посмотрите – ведь это просто срам!

– И что в ней находят хорошего?!

– Нет, она красива без спора!

– Какая же красота! *Pale, maigre... une vieille fille!*

– Старуха говорит, что ей всего двадцать один год.

– Сказать все можно! Я уверена, что целых двадцать пять будет.

- Теперь еще доставало, чтобы ее фрейлиной сделали!
- Ну, до этого не дойдут, – это было бы уже слишком!!

«Mademoiselle Lamzine», конечно, не слышала и не подозревала этих разговоров. Она спокойно продолжала отвечать тем, кто обращался к ней с вопросами. И в то же время рассеянный взгляд ее темных, мечтательных глаз ясно показывал, что она очень далека от окружающего и что в ней нет никакого веселья. Иногда только ее тонкие, прелестные черты принимали какое-то странное, не то тревожное, не то испуганное выражение, будто она ждала чего-то, будто чего-то боялась.

Но замолкшие были звуки оркестра снова раздались. Прозвучал ритурнель контрданса. Произошло всеобщее движение. Блестящие кавалеры скользили по паркету, спешили к своим дамам, расставляли стулья.

Великий князь провел «mademoiselle Lamzine» через всю залу среди расступающейся толпы. Катрин несколько справилась с собою и получила хоть то маленькое удовлетворение, что оказалась vis-a-vis с великим князем. Она оглядела его даму быстрым, но глубоко презрительным взглядом, которого та, впрочем, не заметила.

«Вот так выбор!» – думала она. – И зачем это она здесь, по какому праву? Нет, если княгиня Маратова начинает таскать за собою всех своих бедных родственниц и крестниц – так пусть уж извинит... я и ее к себе приглашать не стану!.. Ни за что! Ни за что! Она совсем выживать из ума стала, эта толстая дура, и ее надо проучить... Меня поддержат и другие – я уверена в этом!..

Но в то же время она с досадой видела, что великий князь очень любезно беседует со своей дамой.

«О чем он может говорить с нею?! Чем она может занять его?!» – раздражительно думает она, рассеянно отвечая на вопросы своего кавалера.

Фигуры контрданса начинают сменять одна другую. Великий князь, очевидно, находившийся в самом веселом расположении духа, обращается к Катрин с любезными фразами. Она оживляется, глазки ее начинают сиять. Великолепные бриллианты ее сверкают на голове, на шее и на руках. Она детским голоском нанизывает одно на другие почти ничего не значащие французские словечки. Она мало-помалу проникается сознанием своей красоты, своего блеска – ей становится весело...

Танец окончен. Звуки оркестра замолкли. В зале снова начинается беспорядочное движение...

Великий князь отходит от своей дамы и, встретясь с графом Милорадовичем, берет его под руку и направляется с ним из залы.

– Любезнейший Михаил Андреевич, – говорит он Милорадовичу, – я сейчас вспомнил: мне нужно кое о чем спросить вас.

- Что прикажете, ваше высочество?
- Знаете ли вы, граф, что по городу ходит ужасная клевета на вас?
- Клевета на меня? – изумленно спросил Милорадович.

– Да, да и очень злая. Вы знаете – я терпеть не могу сплетен. Но из любви и уважения к вам должен предупредить вас и при этом узнать, в чем дело. Рассказывают, что в числе различных челобитен, с которыми к вам обращаются как к генерал-губернатору, на этих днях вы получили какой-то вздор... что-то такое... что «бесчеловечные благодеяния вашего сиятельства, пролитые на всех, аки река Нева протекла от Востока до Запада. Сим тронутый до глубины души моей, воздвигнул я в трубе своей жертвенник, пред кем, стоя на коленях, сожигая фимиам и вопию: «Ты еси, Михаил, спаси меня с присносущными!» Конечно, я могу ошибиться, может быть, там и не совсем так было, но ведь мне дали яко бы копию... и это так глупо и смешно, что я, право, почти наизусть помню... А подпись: «Ямщик Ершов».

Лицо Милорадовича вспыхнуло.

– Никто не может быть избавлен, ваше высочество, от получения подобных глупых и дерзких анонимных бумаг. Я не могу отвечать за то, что прислано в мою канцелярию.

– Но ведь в том, любезнейший граф, уверяют, что на этой челобитной вы собственноручно написали: «Исполнить немедленно». Злая клевета именно и заключается в этом.

Милорадович побагровел еще сильнее.

– Может быть, я и подписал по рассеянности! – вдруг проговорил он. – Да, это возможно! Благодарю, ваше высочество, что вы сообщили мне об этом, – урок хороший!..

– Да, граф, – ласково смотря на своего собеседника, сказал великий князь, – я счел своим долгом... из уважения к вам... Не будьте рассеяны... ради Бога! Я вот вас предупреждаю, а ведь другие не скажут ни слова и будут потешаться. А вы не такой человек. Вы не должны давать над собою права смеяться людям, которые не стоят вашего мизинца!..

– Благодарю вас! Благодарю вас!.. – растерянно шептал Милорадович, сжимая протянутую ему руку великого князя.

Михаил Павлович отошел.

И все видели, как генерал-губернатор, красный и смущенный, что-то бормотал под своими нафабранными усами. Потом он вдруг тяжелым военным шагом пошел разыскивать хозяина, извинился внезапным нездоровьем и в сопровождении адъютанта уехал. Многие изумленно спрашивали друг у друга, что такое случилось с графом. Катрин была опять раздосадована. Она потребовала от мужа объяснений; но тот ничего не мог объяснить ей.

– Да ты бы как-нибудь удержал его... как же можно было выпустить... Ты просто с ума сходишь! – пренебрежительно прошептала она Владимиру.

– Что ж я за фалды, что ли, стал бы его удерживать?! Пойдем лучше к великой княгине, а то и она уедет...

Катрин поспешила исполнить этот совет, будто боясь как бы вдруг, действительно, не уехала великая княгиня. Ей даже начинало казаться, что нет ли он уж, чего доброго, заговора против нее, Катрин? Не участвует ли в этом заговоре и Милорадович? Не потому ли уехал, чтобы сделать ей неприятность?

– Катрин!! – вдруг раздалось над ее ухом.

Она взглянула – перед нею Борис... какой-то странный, бледный, с горящими глазами.

– Чего тебе? Извини, пожалуйста, мне некогда... я спешу!.. *La grande duchesse*...

– Одну секунду, Катрин! – проговорил он задышающимся голосом. – Кто это... та дама, которая танцевала против тебя с великим князем?.. В белом...

– Что ж, и ты, что ли, пленился этой Сандрильоной?! Не стоит, мой друг! *Une fille de rien, sans nom, sans fortune... une parvenue!*

– Кто она? – настойчиво повторял Борис.

– Ах, Боже мой, – протянула она, пожимая плечами, – как ее... Ламзина – что ли?! Какая-то родственница княгини Маратовой.

– Как ее зовут – Ниной?

Даже что-то страшное разглядела Катрин в его побледневшем лице.

– Да, кажется, Нина... отвяжись, пожалуйста!

Она упорхнула. Она не видела, как он весь вздрогнул, как даже покачнулся, будто сильный электрический ток пронизал его. Он несколько мгновений стоял на одном месте, не замечая окружавшего, не уступая дорогу дамам, которые с изумлением на него взглядывали. Потом он вдруг очнулся, провел рукою по лбу и стремительно кинулся через залу, пристально всматриваясь во все стороны. Но он нигде не видел ту, кого искал. Он вышел из залы. Он проходил комнату за комнатой.

«Неужели уехала?! – с испугом, почти с отчаянием думал он. – А что если я ошибся? Что если это не она?.. Но ведь Катрин сказала, что ее зовут Ниной. Опять и это, может, случайно...

Да ведь я узнал ее!.. Это ее глаза! В ней могло все измениться, а глаза должны были остаться... И это ее, ее глаза! Тут нет обмана... я их знаю... они всегда передо мною... Это она... она!»

И он искал ее, поспешно проходя из комнаты в комнату, опять возвращаясь в залу, останавливаясь, вглядываясь.

По счастью, все были заняты своим делом и на него мало обращали внимания... Но все же то там, то здесь его провожали недоумевающие взгляды. Его, действительно, можно было принять за помешанного. Никогда еще в жизни не испытывал он такого волнения. Он с утра как бы предчувствовал, что в этот день должно с ним случиться что-то необычайное. Он чувствовал какое-то особенное беспокойство, постепенно возрастающее. Он не мог ничем заняться и почти весь день провел в своих комнатах. Он разбирал и выкладывал из присланных с таможни ящиков вещи и книги, добытые им за границей. Но ни на чем не мог сосредоточить внимания, не мог ни о чем подумать – мысли тотчас же разбивались, и все вспоминались ему, все светились перед ним эти темные задумчивые глаза, которые грезились ему часто в течение всех лет его юности и которые теперь вдруг он увидел наяву.

«А что если это только призрак, если все это мне только почудилось?! – опять думал он. – И вдруг я увижу эту девушку в белом, эту Нину... и глаза ее будут не те, и она окажется другою, незнакомой мне, ненужной?..»

«Нет, это она... она!» – перебивал он свои сомнения.

Сердце его усиленно билось, дух захватывало. Он опять в напрасных поисках прошел целый ряд ярко освещенных комнат, наполненных нарядной толпой. Здесь были расставлены ломберные столы, шла карточная игра. Он повернул в небольшую гостиную, уютную и полутемную сравнительно с соседними комнатами.

Это была любимая гостиная его матери, с этой комнатой она соединяла лучшие воспоминания своей молодости; в этой комнате когда-то давно-давно она слушала страстные признания своего жениха, разлученного перед тем с нею на многие годы, слушала в то время, как высокий их друг и покровитель, император Павел, устроивший это свидание, поджидал их в смежной библиотеке...

Борис остановился и чуть не вскрикнул. На маленьком диване в глубине этой гостиной он увидел белую фигуру. Чувство восторга, какого-то священного трепета охватило его.

«Это она... она!!»

Она подняла на него глаза. Он не мог уже сомневаться больше. Стремительно кинулся он к ней.

– Нина, я узнал вас... это вы?! – задыхаясь, проговорил он.

Она вздрогнула, поднялась с дивана, вгляделась в Бориса, слабо вскрикнула и схватилась за голову руками. Ее бледное лицо побледнело еще больше. В прекрасных глазах ее изобразилось почти то же самое чувство, какое волновало Бориса.

– Борис! – растерянно произнесла она. – Так вот что должно было сегодня со мною случиться! Вот зачем все это было! Да, я знала, что увижу вас... я ждала вас... в этой комнате...

Она говорила как во сне. Она бессильно склонилась на диван.

– Так вы знали, что меня встретите? Так вы хотели меня видеть?!

– Я ничего не понимаю! – все так же растерянно сказала она. – Я до сих пор не знаю, кто вы... Я только чувствовала, что должна произойти наша встреча именно сегодня, что так суждено... Но зачем... почему нам нужно встретиться снова в жизни – я этого не знаю... Кто же вы?!

– Я?! Да ведь я вижу вас в моем родном доме... в доме моих родителей... Я только вчера вернулся из двухлетнего путешествия...

Изумление, тревога изобразились на лице Нины. А он продолжал:

– Так, значит, вы не забыли меня? Вы могли меня узнать? Значит, когда-нибудь вы обо мне думали?

– Конечно... и я всегда знала, что мы еще встретимся в жизни. Да, часто... часто я о вас думала... и как же могло быть иначе...

– Сколько мне нужно узнать от вас!.. – перебил ее Борис. – Сколько вопросов!.. С чего начать – не знаю.

– И не начинайте... – слабо улыбнувшись, сказала она, – теперь не время... Ведь мы нашли друг друга – пока довольно этого...

– Мы будем видеться? Ведь да?! – спросил он невольно, будто боясь снова потерять ее, будто боясь, что она, появившись перед ним как видение, как видение и исчезнет.

– Конечно! Пойдемте... вы видите – мы здесь одни... а мы ведь в свете... Я вас провожу к моей тетке и завтра буду ждать вас... Завтра мы поговорим без всяких стеснений.

Она оперлась на его руку, и они пошли через сверкающий ряд комнат, туда, откуда все слышнее и слышнее доносились звуки музыки, где через несколько мгновений весело ликующая толпа окружила их и поглотила.

VI. В Москве

Но для того, чтобы понять эту странную встречу и этот таинственный разговор, необходимо вернуться на много лет назад, к знаменательной эпохе двенадцатого года.

Болезнь Владимира заставила Горбатовых в августе двенадцатого года перевезти мальчика, которому нисколько не помогли тамбовские доктора, из Горбатовского в Москву. Сергей Борисович и Татьяна Владимировна, жившие теперь почти исключительно для детей, ни о чем не могли думать, как только о болезни своего сына, тем более что это была какая-то непонятная, странная болезнь. Мальчик несколько раз будто совсем выздоравливал, вставал с постели, у него являлся аппетит, спокойный сон. И вдруг, без всякой видимой причины, без всякой погрешности в диете, за которой следила сама мать, он начинал чувствовать большую слабость, валился с ног. Затем начинался сильный жар, бред – все признаки горячки. Так продолжалось с неделю, потом начиналось видимое выздоровление, за которым следовали еще усиленные припадки болезни.

Необходимо было созвать консилиум известнейших докторов – профессоров Московского университета. Необходимо было дать возможность следить за ходом болезни. Значит, надо ехать в Москву. Времена ужасные! Наполеон со своей разноплеменной армией в пределах России. Он идет к Москве. Ей может грозить опасность неприятельского вторжения. Но разве мыслимо это? Разве это допустят?! Нет, это быть не может. Да и, наконец, о чем же думать, зачем гадать об опасностях, которые с Божьей помощью могут миновать. Дело в том, что надо ехать в Москву ради Владимира.

И Горбатовы поехали всей семьей: с двумя сыновьями, их воспитателем Томсоном, карликом Моисеем Степановичем и неизбежным, всегда сопровождавшим их штатом прислуги. Они остановились в своем прекрасном доме на Басманной улице, в доме, к которому примыкал старинный, несколько запущенный сад. И, таким образом, больному Владимиру и здоровому Борису дана была возможность пользоваться хотя и не деревенским, но все же чистым воздухом.

Московские доктора, немедленно призванные для консилиума, осмотрели больного мальчика и начали подвергать его всякого рода лечению.

В первое время, несмотря на эти, довольно странные иной раз, «научные» эксперименты, здоровье Владимира как будто стало поправляться. Припадки не возобновлялись. Мальчик был только очень слаб.

Между тем положение Москвы становилось опасным. Кутузов, во главе русского войска, стоял перед нею, готовясь дать наступавшему неприятелю большое сражение.

Московский генерал-губернатор, граф Ростопчин, старый приятель Сергея Борисовича, всячески ободрял жителей, расклеивал по городу свои знаменитые афишки. Но, несмотря на это, панический страх начал нападать на жителей. Москва с каждым днем пустела. Все, кто только мог выбраться из нее, выбирался. По Ярославской и другим дорогам, проезд по которым можно было считать безопасным, тянулись нескончаемые обозы. Каждый, уезжая, увозил с собою все, что мог. Старые дома московских бар заколачивались, в иных оставалась только необходимая прислуга для оберегания господского добра.

Сергей Борисович ежедневно виделся с Ростопчиным и просил его не скрывать от него действительного положения.

– Конечно, вам не время теперь жить здесь, любезный друг! – говорил Ростопчин. – Я бы советовал вам уехать – осторожность никогда не мешает. Если же доктора находят, что ваш сын не может обойтись без их постоянного наблюдения, и если его опасно в теперешнем положении перевозить, тогда, конечно, делать нечего!

– Но неужели вы полагаете, что Москва будет взята?! Ведь это что же такое – Москва в руках неприятеля! Это полное поражение! Это несмыаемый позор и погибель для России!

– Москва может быть взята, – отвечал Ростовчин, – но и в таком случае позор и погибель будут еще очень далеко. Все дело в том, как она будет взята. Да и вообще, заранее разве в таких обстоятельствах можно что-либо предвидеть. Моя обязанность поддерживать в москвичах бодрость духа и самому не падать духом. Кутузов тоже не намерен отчаиваться. Иначе что же бы это такое было?!

Между тем день проходил за днем, не принося ничего утешительного. Паника в городе увеличивалась, город пустел больше и больше. С замиранием духа москвичи ожидали результатов большого сражения.

И вот сражение дано 27 августа – великая Бородинская битва! Но что же это – поражение или победа?! Каждая сторона приписывает себе победу. Урон с обеих сторон громадный. Напряжение с обеих сторон страшное, геройство небывалое. Кто же победил?

Русские войска выдержали и отбили почти на всех пунктах натиск французской армии, измученной, хорошо понимавшей, что теперь надо или умереть, или победить, хорошо понимавшей, что надо войти в Москву, потому что только в Москве спасение от позора и голодной смерти, только в Москве отдых после непостижимых трудностей баснословного похода. Русские войска отбили неприятельский натиск, устояли; но в то же время, вместо того чтобы накинуться на неприятеля, отступили. Неспешно, в порядке, но все же отступили.

Французские войска, при виде этого отступления, не стали преследовать неприятеля, а, расстроенные, вконец измученные и обессиленные, спокойно заняли Можайск.

Бородинская битва, по-видимому, оказывалась нерешительной битвой. Французская армия обессилела, и ей неоткуда ждать помощи. Русская армия опустошена ожесточенной битвой; но она в порядке, и затем к ней могут примкнуть новые силы.

Кутузов не может отдать Москву без боя. Новая битва должна разразиться под стенами Москвы. А между тем Кутузов со своим войском входит в Москву, проходит через нее. Москва открыта для французских полчищ. Москва отдана неприятелю...

Ростовчин известил Сергея Борисовича об этом, советуя ему немедленно, если есть только какая-нибудь возможность, уезжать из города. По-видимому, ничего другого не оставалось делать, как бежать вслед за остальными, тем более что и знаменитые врачи, лечившие Владимира, удалились, оставив своего пациента. Сергей Борисович уже начал делать распоряжения относительно переезда в одно из подмосковных своих имений. Час, два – и они уедут.

Но вот Татьяна Владимировна, растерянная, бледная как полотно, входит в кабинет мужа. Он взглянул на нее и ужаснулся выражению ее лица.

– Мы не можем ехать, у Владимира сильнейший припадок! Взгляни, он весь в жару... он бредит... Что теперь делать?!

Сергей Борисович отправился в комнату сына и сразу же убедился, что в таком состоянии мальчика перевозить нет никакой возможности.

– Уезжай с Борисом! – шепнула Татьяна Владимировна.

Муж только молча и укоризненно взглянул на нее.

– Ну что же, мы останемся, – проговорил он через несколько мгновений. – Бог милостив! Не съедят же нас живыми!

Мрачный, с опущенной головой вышел он из комнаты. Татьяна Владимировна осталась у кровати сына, опустила на колени и стала горячо молиться. В углу комнаты тихо всхлипывал карлик.

«Что же теперь будет? – с отчаяньем думал он. – Ведь они звери, эти французы... знаю я их... Вот уж в мыслях не бывало дожить до такого года... Враг, нехристь поганый, в Москве, надругается над святыней...»

Но он сдержал в себе отчаяние и тотчас же решился, никому не доверяя, отправиться на разведку. С этой минуты он часто уходил из дому, уходил на несколько часов и приносил самые верные известия о том, что творится в городе.

Теперь старая русская столица окончательно пуста, имеет вид вымершего города. Почти все дома глухо-наглухо заколочены; магазины и лавки забиты. На улицах только изредка встречаются робко крадущиеся фигуры, по большей части бедного ремесленного люда. Только из иных кабаков слышатся, в особенности к вечеру, дикие крики: это гуляют фабричные. Они разбивают бочки с вином, напиваются до одурения, выволакивают бочки на улицу. Вино течет по камням. Некоторые, уже совсем пьяные, даже припадают к мостовой и лижут камни. А потом эта дикая толпа всю ночь с отвратительным криком бродит, шатаясь, по городу, нарушая пустынную тишину его.

Погода стоит ясная и теплая. Наступает 2 сентября. Наполеон входит в город, окруженный своим измученным войском, которое забывает всякую дисциплину, которое ликует, заранее предвкушая все земные блага, сопряженные с обладанием огромным богатым городом.

Наполеон, уставший и простуженный, сознававший свое крайне затруднительное положение, снова воспрянул духом. Он победитель! Он в сердце России! Здесь ему дана будет возможность собраться с силами, предписать какие ему будет угодно мирные условия русскому царю. Отсюда, из этих вековых, знаменитых стен, он снова покажется Европе в ореоле немеркнущей славы всемирного победителя. Но его мечты, его надежды сразу разбиваются. Победителя никто не встречает. Он вступает в пустой, оставленный жителями город. А через день уже спит в кремлевском дворце, при освещении пожаров, со всех сторон охватывающих город, вспыхивающих то там, то здесь, грозящих, наконец, его безопасности. С проклятиями, в отчаянии, понявший, наконец, свое положение и предвидя свою судьбу, он выезжает из Кремля, пробираясь по пылающим улицам, и поселяется в Петровском дворце.

Москва горит, как свеча. Французские солдаты, которым сначала было приказано не грабить город и не трогать жителей, теперь уже окончательно забыли всякую дисциплину. Да и никто даже не хочет им приказывать, их начальники сами обезумели.

Грабь... жги... неистовствуй!!

И все, что еще осталось целым, предается разграблению. Великолепные дома русских бар представляют из себя опустошенные, жалкие развалины.

Но невредим еще пока, по счастью, дом Горбатовых на Басманной, хотя вокруг него уже сгорели многие прекрасные здания. Дом Горбатовых находится в глубине большого двора, обнесенного чугунной оградой на высоком каменном фундаменте. Далее за домом и вокруг него идет обширный сад. Такое положение избавляет его от опасности.

Сергей Борисович, помышляя только о своем больном, почти умирающем сыне, о спасении семьи, добился свидания с Мюратом и, выставив свое печальное семейное положение, сумел выговорить себе безопасность. Он предоставил половину своего дома в распоряжение французского генерала и нескольких офицеров. Он не щадит ничего, он по-царски угощает своих гостей, всячески их задаривает, и за это уставшие французы действительно охраняют его от своих соотечественников.

Владимиру то хуже, то лучше. Он на попечении одного только домашнего врача-немца, который, без руководства разбежавшихся знаменитостей, не знает, что и делать, а потому ничего не делает. Но так оно лучше – природа сама выпутается из беды...

Все эти страшные дни Борис находился, естественно, в некотором забросе, на него мало обращали внимания. А между тем для него было очень важное время. Ему было около пятнадцати лет, и он считал себя взрослым человеком.

Он очень любил брата, от всего сердца жалел его. Он не мог равнодушно видеть горе отца и матери. Но все же главный его интерес, главный смысл его теперешней жизни был вне семьи. Вся душа его кипела от совершавшихся грозных событий. Когда они приехали в Москву, когда

стали кругом него слышаться разговоры о приближении неприятеля, о приготовляющейся за Можайском битве, он весь дрожал, глаза его горели. Он пришел как-то к отцу и стал умолять его разрешить ему вступить в военную службу и присоединиться к войску Кутузова.

– Меня примут, – умоляющим голосом говорил он, – я знаю наверное, что примут. Я силен, я умею драться, я могу быть солдатом. Ведь вот же Ваню Голицына приняли, а он ниже меня ростом.

– Он на два года тебя старше, – отвечал отец. – И солдатом тебе быть рано. А главное, что тебя не примут – спроси графа Федора Васильевича, он тебе скажет это.

– Но мне невыносимо сидеть, сложа руки, когда враг в пределах России, приближается к нашей древней Москве, когда льется русская кровь! – восторженно, в нервном возбуждении доказывал Борис.

– Я очень хорошо понимаю твои чувства, – сказал Сергей Борисович, – но против невозможности ничего нельзя сделать. Поверь, эта великая война не завтра кончится. Если ты хочешь непременно драться, то в свое время еще очень успеешь.

– Не удерживайте меня! Не удерживайте ради Бога! – со слезами на глазах повторял Борис.

«Чего доброго он убежит, пожалуй!» – подумал Сергей Борисович.

– Послушай! – сказал он. – Есть еще одно обстоятельство, о котором ты, кажется, совсем не думаешь. Ты понимаешь ведь положение твоего брата, в нем нет ничего утешительного, и у нас осталось мало надежды на его выздоровление – не сегодня завтра он может умереть. Подумай же о матери! Если ей суждено лишиться одного сына... что ж... ты, верно, хочешь подвергнуть ее опасности лишиться и другого! Подумай – если ты уйдешь, если с тобой что-нибудь случится, а ведь ты очень и очень легко можешь быть ранен или убит – что с ней будет?! Она не переживет этого... Неужели ты хочешь уморить нас?!

Борис вздрогнул, опустил голову, простоял несколько мгновений неподвижно и потом вдруг с глубоким вздохом и упавшим голосом произнес:

– Да, конечно, вы правы, батюшка, я должен остаться... я понимаю это...

Отец крепко его обнял и поцеловал. Но все-таки в этот же день он поручил гувернеру-англичанину следить за Борисом, чтобы он никак не выходил один из дому.

Борис искренне отказался от своего намерения; но положение было для него крайне мучительно. Он жадно ловил все новости. Когда сделалось очевидным, что Москва предоставлена неприятелю, он забрался в густую аллею сада и горько там плакал. Теперь, когда Москва горела, когда в доме стояли французы, он весь день бродил взволнованный, нервный, с горящими глазами, ко всему прислушивался. В нем кипела ненависть к врагам, в нем поднималась ненасытная жажда мести, какого-нибудь подвига, и он не мог уже владеть собою.

«Если нельзя сражаться, – думал он, – если нельзя грудью защищать свое отечество, так все же из этого не следует, что нужно сидеть сложа руки. Что делается в городе? Здесь, за этими стенами, ничего не знаешь. Ведь не вся же Москва пуста?! Все же довольно осталось народу. Неприятели грабят! Неприятели производят всевозможные жестокости... Наверно, русских убивают, мучают, пытаются... Наверное, можно спасти кого-нибудь... Я не могу больше, я должен выйти из дому... Я должен видеть своими глазами все, что делается. Может быть, Бог поможет мне на что-нибудь пригодиться. Вон вчера Степаньч рассказывал, что сам видел, как на улице лежало несколько трупов русских людей. Он рассказывал, что французы унесли куда-то связанную по рукам и по ногам женщину...»

Внезапное решение созрело в голове его. Он проснулся рано утром, убедился, что гувернер спит, тихонько оделся и прокрался к двери, выходящей на балкон. Дверь была заперта на ключ, но ключ не вынут из замка. Он прислушался – все кругом тихо... Замок щелкнул – он на балконе.

Оглядываясь во все стороны, он выбежал в сад, отпер калитку, через которую можно было войти во двор, и знакомыми ему закоулками пустился бежать к воротам. Но ворота заперты, возле них в будке дремлет сторож Иван. Огромная цепная собака сначала глухо заворчала, а потом бешено залаяла. Сторож проснулся.

– Кто тут? Что надо?

– Это я, Иван, я, не узнал?

Но Иван узнал.

– Что прикажете, сударь, Борис Сергеич?

– Отвори мне калитку скорее.

– Куда это вы, батюшка барин, в рань такую?

– Нужно, нужно... Сейчас вернусь... Не задерживай!

Сторож Иван спросонья не мог еще прийти в себя, не мог сообразить, следует ли выпустить барчонка или нет. Но насчет этого никакого приказа дано не было. А Борис торопит:

– Отворяй! Отворяй скорее!

Он отворил калитку и выпустил.

Борис кинулся бежать. Добежал до церкви, повернулся за угол и остановился, переводя дыхание.

Только что вошло солнце, но его еще не было видно. Туман стоял кругом. Сильно пахло гарью. Со всех сторон поднимался дым, со всех сторон вставали потухавшие развалины зданий.

Борис ощупал в своем кармане маленький, взятый им с собою пистолет и быстрым шагом направился к Мясницкой.

VII. Герой

Пожар Москвы развивался и увеличивался, между прочим, и погодой. Несколько дней при ясном, почти безоблачном небе и довольно высокой температуре дул сильный ветер. Деревянные здания вспыхивали одно за другим. Ветер разметывал горящие головни, перебрасывая их через несколько домов. Огонь быстро принимался. Таким образом, в какие-нибудь два, три часа времени горела вся улица. Несчастные жители, запрятанные в темных уголках своих квартир и теперь застигнутые врасплох врагом уже неожиданным, выбегали, обезумевши, на улицу, унося с собою первое, что попадалось под руку, часто совсем ненужное. При виде со всех сторон несшегося на них пламени они кидались в ближайшую церковь. Но пламя скоро подбиралось и к церкви, грозило ей неминуемой опасностью. Поднимались стоны, вопли. Приходилось бежать и отсюда.

Куда бежать? Дым ел глаза, застилал все окружающие предметы. Кругом рушились здания. Выла и грохотала буря. И толпа несчастного народа бежала вперед, сама не зная куда. Пламя заступало дорогу. На многих загоралась одежда, многие, обессиленные, падали, задыхаясь. Другие, наконец, вырвавшись кое-как из пламенных объятий, собирались на площадях, складывали тут свои скудные пожитки, а сами падали в изнеможении на землю. И, наконец, несколько придя в себя, начинали оглядываться. Тогда начиналось всеобщее смятение. Многие не досчитывали своих близких. Мужья потеряли жен, матери – детей. Почти каждый вспоминал, что, выбегая из дому, оставил на жертву пламени что-нибудь дорогое. Полное отчаяние охватывало этот несчастный люд. А пламя свирепствовало, а буря не утихала. Густой дым застилал солнце. Мрак наступал над землею.

Но вот, наконец, ветер начал стихать. Со всех сторон горизонта стали показываться облака. Скоро они заволкли все небо, пошел дождь. Дождь увеличивался с каждой минутой, лил, почти не переставая, более суток. Народ, расположившийся на площадях под открытым небом, весь продрог, нитки сухой на нем не осталось. Но пожар стал прекращаться.

И теперь, когда Борис бежал по Мясницкой, город уже представляя иной вид.

Фантазия Бориса работала с детства. Он иногда в часы уединения или бессонницы представлял себе с большой ясностью всевозможные картины, самые страшные, самые фантастические. Но никогда еще его горячая фантазия не рисовала перед ним такого потрясающего зрелища, какого он теперь был свидетелем. Он уже давно пробежал всю Мясницкую и двигался к Москве-реке, чтобы взглянуть на Замоскворечье. Он шел среди развалин, со всех сторон перед ним возвышающихся. Всюду дымились пожарища, то и дело то здесь, то там неожиданно вспыхивали огненные языки. Еще недавно раскаленный удушливый воздух, полный дыма и пепла, теперь освежился. Но Борис чувствовал по временам отвратительный запах, и он скоро понял, откуда происходил этот запах. Он начал все чаще и чаще наткаться на трупы, обгорелые, ужасные трупы, предающиеся тлению.

Ужас и отвращение охватили Бориса. Он остановился невдалеке от трупа женщины, лежавшего прямо перед ним посреди дороги. Он задрожал всем телом. Он почувствовал, что по голове его как будто что-то пробегает, будто волосы его шевелятся и начинают подниматься сами собой. Едва сдавив в себе крик, он кинулся назад с намерением бежать скорее домой от всех этих ужасов.

Но вдруг остановился.

«Я трус! – мелькнуло в голове его. – Я не могу вынести вида смерти, на что же я годен после этого!»

Нервно вздрагивая, он вернулся обратно и стоял перед обезображенным трупом, заставляя себя спокойно разглядеть его. И он глядел с искаженным лицом, с широко раскрытыми глазами. Он увидел лицо, очевидно, еще молодое и, вероятно, бывшее красивым; но теперь

оно было почти зеленого цвета. Одна сторона его опухла, из-под одного, не совсем закрытого века выглядывал безжизненный стеклянный зрачок... Женщина была полураздетая...

Он не в силах был больше глядеть. Стараясь не дышать, чтобы не чувствовать ужасного смрада, он обошел труп и побежал дальше. Все было тихо. Но вот ему послышались невдалеке голоса. Он огляделся и заметил толпу людей, шедшую ему навстречу.

Инстинктивно, в мгновение ока, он кинулся в сторону и спрятался в развалины дома. Он чувствовал под своими ногами еще не совсем остывший пепел и уголья. Он притаился за выступом окна и глядел. Эти, очевидно, спешившие куда-то люди уже почти с ним поравнялись; но они, должно быть, его не заметили, а теперь уже никак не могут его видеть. Кто эти люди? И он сейчас же убедился, что это враги – французы, убедился по их говору.

Боже мой, в каком они виде? Разве это солдаты? Положим, у каждого из них оружие и кой-какие остатки военной формы. Но вот на одном партикулярный сюртук, на другом – цилиндрическая шляпа, на третьем – какая-то женская мантилья. Это враги-грабители! Они, быть может, убили тех, кого ограбили и чье платье на себя надели!.. Бешенство, ненависть закипели в Борисе. Он вынул дрожащей рукой из своего кармана пистолет, взвел курок и направил его из-за переплета окна в проходившую толпу. Он спустил курок: но что это? Выстрела не последовало... Осечка!

Французы прошли мимо. Тут только бедный Борис заметил, что хотя он и хорошо зарядил свой пистолет, но забыл надеть пистон. Ему стало досадно, стыдно. И в то же время он почувствовал бессознательную радость. Тем не менее он поспешно вынул из коробочки пистон, надел его и, выбрав себе более удобное положение, остался неподвижен.

«Эти прошли, пройдут и другие, – думал он, – тогда я уже не промахнусь. Я должен убить врага!»

Но он долго стоял, но никто не показывался на улице. Наконец он издали заметил приближающуюся фигуру.

«Вот он, вот! – с забившимся сердцем чуть громко не крикнул Борис. – Но он один, я не должен убивать его из-за угла...»

Одним прыжком он перескочил через груды обгорелых обломков и углей и с поднятым пистолетом стремительно направился к шедшей навстречу ему одинокой фигуре. Теперь он заметил, что это пожилой человек с бледным, испитым лицом; длинные, почти седые волосы выбивались со всех сторон нечесаными космами из-под суконного картуза с большим козырьком. Щеки и подбородок были, очевидно, давно небриты и поросли серебристой щетиной. Одет этот человек был в длиннополый поношенный кафтан. Он шел нетвердой походкой, бормоча что-то... Во всей его фигуре не было ничего воинственного, да и никакого оружия на нем не замечалось.

Борис остановился в недоумении, но все же не опуская пистолет. Старик только теперь его заметил. Он окинул его взглядом, в котором выражался не страх, а ненависть, и охрипшим голосом крикнул:

– А, француз поганый!.. Нехристь окаянный! Убить меня хочешь... Ну, что же, убивай... Стреляй... Да стреляй же, молокосос!..

И он, широко разводя руками, выставил вперед грудь, наступая на Бориса.

– Я не француз! – растерянно проговорил он.

– Так что же ты на своих кидаешься?!

– Да я... Я думал, что вы француз... Что вы враг... – заикаясь проговорил юноша, весь краснея.

Старик изумленно и с усмешкою оглядел Бориса и покачал головой.

– Ах ты, молокосос, молокосос! Поди ты, вон тоже на своих с пистолетом кидается! Да ты, может, кого и уложил так-то, зря?..

– Нет, я еще не стрелял.

– То-то!

Старик еще раз оглядел Бориса, печально и добродушно усмехнулся и опять покачал головою.

– Да откуда ты, паренек? Кто таков? Барчонок какой, что ли? Бар-то, что-то, не видать... Разъехались...

Старик этот вдруг ужасно понравился Борису, и он с внезапной откровенностью, свойственной его годам, рассказал ему, кто он, откуда и за каким делом попал сюда.

– Ведь правда, – заглядывая ему в глаза, говорил он, – правда ведь, что стыдно сидеть в безопасности, когда в городе такие ужасы, когда кому-нибудь помочь можно, кого-нибудь защитить... Убить хоть одного врага и грабителя?!

– Эх, молодчик, молодчик! – печально повторил старик. – Ну, чему ты, сударь, поможешь? Кого спасешь? Вот меня чуть было не убил. Оно бы и ничего... Туда мне и дорога... Смерти не боюсь... Да тебе плохо бы было, на душу грех большой взял бы... Сидел бы лучше дома. По крайности, как пришел бы час твой, так со своими родителями да домочадцами принял бы кончину...

– Все погибнем! Все погибнем! – вдруг, сверкнув глазами, диким голосом крикнул старик.

– Как все погибнем? – испуганно и изумленно спросил Борис.

Старик становился страшным; глаза его дико блуждали. Он потрясал в воздухе рукою.

– Все погибнем! – повторил он. – Пришел час гнева Божьего и кары! Кончина света приблизилась... Прогневали мы Господа Бога великими нашими злодеяниями, неправдою; а против Бога кто может? Наслал он на нас этих дьяволов и призвал им на помощь стихии небесные. Камня не останется от сего города! Ни один человек не выйдет из него...

– Ах, зачем вы это говорите? – старался перебить его Борис. – Бог милостив. Враг покинет Москву, наше войско заставит его еще бежать.

Но старик его не слушал. Он кричал теперь, очевидно, уже не обращая на него никакого внимания, не сознавая, есть у него слушатель или нет.

– Всю жизнь сколачивал деньги, – кричал он, – что мук вынес... работал, рук не покладая. Ночи за работой просиживал. Сколотил мастерством своим деньжонки, домик построил... сына вырастил... В солдаты взяли. Где сын? Убит!.. Французы убили... Справлялся... верно узнал... убили... Нет Петруши... Нет и могилки его... так и не увидел. Жена заболела с горя... Лежит, стонет, душу надрывает... Враг пришел, Москву отдали ему... Вышел из дому – сил не хватило... Пожар! Москва горит... домой?.. Нет дома... сторел... ничего не осталось... Где жена?.. Больна ведь, двигаться не могла... где она? где?..

– Да говори же ты мне, где она?! – накинулся он на Бориса, хватая его за плечи. Он был страшен. Безумие и бешенство изобразились на лице его.

Борис высвободился и стремительно побежал от него. Потом он остановился, оглянулся и увидел, что старик все еще стоит на одном месте, разводя руками и крича что-то такое, что теперь разобрать было невозможно. Борис бежал дальше, среди все той же картины всеобщего разрушения; среди все тех же валявшихся трупов людей и животных.

А солнце поднималось выше и выше. Встречались люди. Несколько раз Борису приходилось прятаться от французов, которые толпами, с криком и гиком, бродили, врываясь в дома, уцелевшие от пожара, с целью грабить все, что еще можно было найти в них.

Когда первая паника, охватившая французов при виде со всех сторон усиливавшихся пожаров, прошла, они решили наверстать свои неудачи и разочарования самым разнузданным грабежом. Теперь уже нечего было стесняться перед этими варварами, встретившими их таким ужасным образом, так насмеявшимися над ними.

Сам Наполеон, решившись возвратиться в Кремлевский дворец, которому теперь уже не угрожала опасность, разрешил этот грабеж, хотя и объявил меры для его ограничения. Он

приказал, чтобы каждый корпус, находившийся в Москве или ее окрестностях, один за другим в назначенные дни отряжал от себя по нескольку рот для грабежа. Этот грабеж был назван в приказе Наполеона «приготовлением запасов продовольствия».

Между тем, конечно, никакого ограничения грабежа не было. Напротив, эти отряды, посылаемые по очереди, рассуждали так, что каждому из них, по всем вероятностям, приходится в последний раз выходить на добычу, и потому они с остервенением накидывались на все. Они разбивали двери и окна, врываются на чердаки, в подвалы и кладовые. Несчастные жители, прятаясь по углам, не выказывали, конечно, никакого сопротивления. Они предоставляли все свое имущество на разграбление, лишь бы только ужасные грабители ушли поскорее.

Им, кажется, уже ничего не осталось теперь, они уже больше не вернуться. А между тем на следующий день грабеж повторялся. Каждый корпус должен был навестить несчастных обывателей. Каждый приходил по очереди и забирал все, что оставил его предшественник. И по мере того как уже не оказывалось ничего для грабежа, солдаты неприятельские выказывали все больше и больше бешенства. Они воображали, что от них прячут добычу, и угрозами, насильем заставляли ее выдавать себе.

При этом они сами были в несчастном положении: все изнашивалось, без сапог, без белья, в лохмотьях. Врываясь в дом, где уже не оставалось ничего для их поживы, они почти донага раздевали хозяев – мужчин, женщин и детей. Каждая вещь из носильного платья и белья была им нужна. Происходили ужасные возмутительные сцены. Они уже не различали теперь народностей. Французы, в довольно большом количестве жившие в Москве и теперь там оставшиеся, были точно так же, как и русские, ограблены своими соотечественниками. Эти солдаты, самым безобразным образом закутанные во всевозможное награбленное платье, как мужское, так и женское, совсем замаскированные этими фантастическими нарядами, теперь находили возможным, надеясь быть неузнанными, грабить даже своих собственных офицеров.

Борис, бродя из улицы в улицу, не чувствуя ни усталости, ни голода, не замечая времени, то и дело натыкался на какое-нибудь проявление этого безначалия и всяких жестокостей.

Вот раздаются крики, пронзительные женские крики. Двое солдат тащут какую-то молодую женщину. Она от них вырывается.

– *Votre bague! Votre bague*, – кричат они, – *ou nous la prenons avec le doigt!*

Молодая женщина становится перед ними на колени, она заливается слезами, она умоляет их прерывающимся голосом:

– *Ayez pitié de moi, messieurs, prenez tout, prenez tout, laissez moi la bague. Voyez... telle est si simple, mais elle m'est si chère. Ayez pitié de moi, je suis votre compatriote!*

Но французы не обращают никакого внимания на слова ее. Уже один схватил ее за палец, миг – и он действительно ей его отрубил.

Борис не мог вынести этого. Он кинулся к ней на помощь. Он был очень силен для своих лет; но скоро убедился, что ему не сладить с этими двумя рослыми мужчинами.

– *Il n'y a rien a faire*, – задыхаясь крикнул он молодой женщине, – *rendes votre bague a ces infames!*

Та, видя, что не остается никакого спасения, с громкими рыданиями сняла кольцо. Видно было, что оно ей бесконечно дорого. Это было гладкое обручальное кольцо.

Один из французов жадно схватил его, а другой со всего размаха ударил Бориса в спину, так что тот пошатнулся.

– *Et toi coquin*, – крикнул он ему, – *tu feras cadeau de ton bonnet a tes compatriotes!*

И с этими словами он сорвал с Бориса его шляпу.

Очевидно, французы эти надеялись еще хорошо поживиться в другом месте. Они поспешно удалились.

Борис обратился к плачущей женщине, спрашивая ее, где она живет и предлагая ей проводить ее. Но оказалось, что она живет тут же рядом в доме. Она с плачем вошла в дверь, при-

глашая Бориса за собою. После борьбы с французами, помятый ими и изрядно поколоченный, Борис чувствовал большую усталость, а потому без всяких рассуждений последовал за своей новой знакомой.

Она ввела его в небольшую, но, вероятно, недавно еще очень мило убранную квартиру. Теперь же по комнатам царствовал полнейший беспорядок. Все было перерыто, комоды стояли с выдвинутыми ящиками, платяной шкаф тоже.

Француженка, очень недурная женщина лет двадцати восьми, вдруг как-то чересчур даже быстро успокоилась. Отчаянное выражение в ее лице исчезло, слезы высохли. Она уже улыбалась Борису и говорила скоро, скоро, приятно картавя и рассказывая ему о том, как она вышла было из дому, желая разузнать, не находится ли где-нибудь поблизости квартира одного из французских генералов, к которому она хотела обратиться с просьбой о заступничестве. И вот, только что она вышла из ворот, как проходившие два французских солдата заметили на ее руке это кольцо.

Вспомнив о кольце, она опять было всплакнула, но тут же и успокоилась.

– Я не могла надеть перчаток, – говорила она, – потому что у меня нет перчаток... Все разграбили!.. И я одна... Меня покинули все друзья и знакомые... Все скрылись из Москвы.

Она усадила Бориса в мягкое кресло и продолжала рассказывать. Она уже шесть лет как в России. Сначала жила в Петербурге, но вот уже четвертый год как перебралась в Москву. Она актриса. Ее друзья предлагали ей уезжать, но она осталась вопреки их желаниям. Разве могла она предвидеть эти ужасы?! Она рассчитывала весело провести время в кругу своих соотечественников... И вот теперь ограблена, лишена всего достояния. Три раза врывались к ней в квартиру, разграбили все, что только было у нее хоть немного ценного – все ее вещи, даже платья, ее шубу. Она не знает, что будет теперь делать. Нужно непременно найти генерала, а всего лучше обратиться к самому императору... Он должен будет помочь ей... Но как теперь это сделать? Она уже боится выйти из дому... Эти звери способны на всякое насилие... Сначала к ней ворвались поляки, потом немцы. Она так перепугалась, что заболела. И ведь она одна – покинутая. Ее кухарка, глупая русская женщина, конечно, ничем не может помочь ей. Да и как же было выбраться, когда кругом горит и нет никакого прохода...

– Я все еще надеялась на моих соотечественников, – говорила она, – грабили поляки, грабили немцы; но французы не могли меня грабить!.. И вот сегодня вы видели... французы, французы отняли у меня то, что было дороже всего!..

– *A, monsieur, si vous saviez... cette bague... cette bague! Quel souvenir,* – повторила она, – *et je vous suis tellement reconnaissante!*

– За что же! – печально проговорил Борис. – Если бы я мог помочь вам, а то ведь не помог ничем, только даром лишился шляпы и теперь должен возвращаться с непокрытой головой.

– Благодарите Бога, что так еще отделались, – постаралась она его успокоить. – На вас ваше платье. Они не выворотили вам ваши карманы. По счастью, они приняли вас за француза. *Mais vous n'êtes pas français, n'est ce pas?*

Но вместо того чтобы ей ответить, Борис вдруг вскочил, схватился за голову. Стыд, смущение, отчаяние промелькнули на выразительном, нежном лице его.

– *Eh bien, mon cher jeune homme, qu'avez vous donc?*

– *Mon Dieu, mon Dieu,* – отчаянно прошептал он, – *j'aurais pu vous défendre...* Я мог бы отбить вас, и ваше кольцо не попало бы им в руки... Я сошел с ума... Я забыл, что у меня в кармане заряженный пистолет, который я и взял с собою для подобного случая. Я дал этим негодьям ограбить вас, дал им избить себя!.. Ведь они были вооружены, могли защищаться... Я имел право стрелять в них!..

Он упал в кресло, мучимый стыдом и решительно не понимая, каким это в самом деле образом мог забыть о своем пистолете.

Француженка улыбнулась, под села к нему, положила ему на плечо свои маленькие красивые руки и, ласково заглядывая ему в глаза, стала его успокаивать.

– Не огорчайтесь, – говорила она, – все это было так быстро, что вам легко было забыть. Ну, что делать, пропало мое кольцо! А вы должны благодарить Бога, что забыли о своем пистолете. Помогло ли бы мне это или нет – еще неизвестно. Если бы вы вздумали стрелять, они, наверно, бы вас убили. Ведь их было двое, двое сильных, привычных людей. Ах, как хорошо, что вы забыли! Вы и так меня отчаянно защищали. Вы храбрый молодой человек... Очень храбрый. И вот у меня большая к вам просьба – ведь вы исполните ее? Да, конечно, исполните, у вас доброе сердце!

Она еще ласковее глядела на него, гладила его волосы.

– Оставайтесь со мною пока светло! Если бы вы знали, как я боюсь и как нуждаюсь в защите. Я теперь ни за что, ни за что не рискну выйти, а ведь они могут сюда прийти, что я тогда сделаю? Будьте моим защитником!

Она говорила таким милым, умоляющим голосом. Она, действительно, была перепугана.

– Ведь они весь день бродят, а когда начинает смеркаться, – исчезают.

Борис забыл свое положение, забыл все и сказал, что так как она, действительно, нуждается в его присутствии, то он остается.

Живая француженка совсем развеселилась. Она тотчас же сообразила, что ее молодой защитник должен быть голоден, позвала свою кухарку, спросила, что есть съестного. Съестного оказалось немного, но все же достаточно, чтобы насытиться. Был хлеб, были кое-какие овощи, нашелся даже кусок холодной говядины.

Француженка сама, своими маленькими, хорошенькими ручками, смастерила обед для своего защитника, и болтала, болтала, переходя с одного предмета на другой, ужасаясь, доходя до полного отчаяния – и потом сейчас же развеселясь, начиная даже смеяться.

Борис, кажется, никогда еще не ел с таким аппетитом. Время проходило незаметно. Вот стало и смеркаться. Он пришел, наконец, в себя. Он понял, что такое наделал. Ясно представлял он себе, как должны беспокоиться о нем дома. Он уверял француженку, что не может более у нее оставаться. Просил ее после его ухода хорошенько запереться и дал ей слово, что на другой день утром она будет в безопасности. Он попросит о ней французского генерала, который стоит у них в доме. Генерал этот самый любезный человек и, конечно, не оставит в таком положении свою соотечественницу.

– Как же вы пойдете без шляпы? – говорила француженка. – А ведь у меня нет никакой шляпы. Я ничего не могу дать вам.

– Не беда, – отвечал Борис, – теперь темно, меня никто не увидит.

Француженка даже поцеловала его на прощанье.

Он вышел и пустился бежать.

«Ах, что там у нас?! Что они теперь думают? Что будет?!» – мучительно думалось ему.

И он еще прибавил шагу. Он боялся заблудиться посреди этих развалин, в темноте, которая должна была скоро наступить. На улицах почти никого не было. Вечер был ясный, но довольно холодный. Вдруг он услышал отчаянный крик:

«Спасите! Спасите!» – голос был детский, звонкий, пронзительный; в нем выражалось страшное отчаяние. Он остановился. Кричат близко, но где... Ничего не видно.

«Спасите!!» – опять пронеслось в вечернем воздухе.

И тут из-за угла переулочка он увидел человека, несшего на руках почти обнаженную девочку. Она барахталась руками и ногами. Она отчаянно кричала. Вся кровь бросилась в голову Борису. Он выхватил из кармана пистолет, взвел курок и, подбежав к несшему девочку человеку, крикнул ему:

– Laissez la ou je vous tue a l'instant!

Тот остановился, разглядел дуло пистолета.

– Qu'y a t'il? – хриплым голосом проговорил он. – Michaud a eu besoin de sa jupe... alors il ne me reste que la gamine... et je la prends – v'ia tout!..

Это был дюжий молодой солдат. От него пахло вином. Он был, очевидно, сильно пьян.

Раздался выстрел. Пуля просвистела почти у самого уха солдата. Он разжал руки, девочка соскользнула на землю. Солдат побежал, покачиваясь, и скоро скрылся в наступивших сумерках.

Борис склонился над девочкой. Она лежала, вздрагивая всем телом, почти без сознания.

– Кто вы? Где вы живете?? – растерянно спрашивал Борис.

Девочка ничего не отвечала.

– Можете вы встать?

Она, наконец, расслышала его вопрос. Она попробовала подняться и тут же опять упала...

Она совсем почти раздета; вечер холодный. Как быть! Он стал оглядываться. Он заметил среди развалин, его окружавших, уцелевшее здание. Он наклонился, попробовал поднять девочку. Потом снял с себя пальто, закутал ее, поднял и понес.

Девочка была довольно большая и тяжелая; но он не чувствовал ее тяжести. Через минуту он уже был у подъезда намеченного им дома.

«Авось есть тут кто-нибудь, – думал он. – Авось отворят!»

Поднявшись на ступеньки крыльца, он стал стучать в дверь. И вот, к его изумлению, дверь распахнулась, но никто ее не отпер – она была не заперта.

Борис вошел со своей тяжелой ношей, разглядел в слабом полусвете переднюю комнату. Прошел дальше, очутился в довольно просторной зале, заметил диван, положил на него девочку и стал ждать: придет же кто-нибудь.

Он отворил другую дверь – крикнул: «Кто тут?»

Звук его голоса пронесся по пустым комнатам. Никто ему не ответил. Все было тихо. Становилось все темнее и темнее.

VIII. Ночь

Между тем девочка пришла в себя. Она приподняла голову, поджала под себя ноги.

– Как холодно! – проговорила она.

Борис плотно закутал ее в свой плащ. Он беспомощно оглядывался, вслушивался в немую тишину, стоявшую вокруг него. Его взгляд случайно упал на окно, сквозь которое вдруг блеснул луч выплывшей из-за облака луны. Комнатка, погруженная почти в полный мрак, теперь озарилась мягким голубоватым светом. Теперь все уже вокруг можно было ясно различить. Борис решил обойти это жилище, в которое он попал, и узнать есть ли тут кто-нибудь.

– Я сейчас вернусь, – сказал он девочке, – я только осмотрю дом.

Она слабо вскрикнула.

– Так вы не француз, не француз? – спрашивала она своим милым детским голоском. – Не уходите, а то они придут опять... Они убьют меня...

– Беденькая моя, не бойся ничего! Я говорю: сейчас вернусь. Вот прежде всего я постараюсь запереть наружную дверь, тогда никто уж не войдет сюда.

И он прошел в те двери, через которые внес ее. Он оглядел, ощупал; двери запирались изнутри на ключ и, кроме того, еще для крепости припирались болтом. Проходя мимо девочки, он еще раз ее успокоил.

– Теперь крепко, и все тихо... ночью никто не придет сюда.

Он начал обходить дом. Обошел все комнаты и скоро должен был убедиться в отсутствии здесь всякого живого существа, за исключением кошки, которая вдруг спрыгнула откуда-то и, жалобно мяуча, стала вертеться вокруг его ног. Насколько можно было разглядеть при свете луны, падавшем из окон, это было довольно большое и хорошо обставленное помещение, очевидно, покинутое хозяевами, а затем и оставшейся прислугой, уже подвергшееся грабежу французских войск, которые, как и у француженки, забрали здесь все, что только можно было забрать. Даже с окон и дверей были сорваны занавески, на что указывали оставшиеся карнизы и кое-где висевшие обрывки материи.

Положение Бориса оказывалось безнадежным. Он надеялся сдать девочку кому-нибудь в верные руки, какой-нибудь женщине, а самому спешить домой. Но теперь об этом нечего было и думать. Вести ее с собой?! Но когда он поднимал ее и закутывал в свой плащ, то заметил, что на ней всего одна рубашка, чулки и башмаки. Его плащ, короткий и не особенно широкий, не может защитить ее от ночного холода, а сентябрьская ночь, после довольно теплого дня, очень холодна. Вот открытое окно, и из него так и врывается почти даже морозный воздух.

Да и, наконец, будет ли она в состоянии дойти до их дома. Басманная ведь это так далеко отсюда! Он может нести ее на руках... Конечно, он донесет ее, у него хватит силы; но ведь мало ли что может случиться дорогой. Ведь вот же этот негодяй француз тащил ее, очевидно, с целью надругаться над нею, в конце концов, быть может, убить ее. Ведь это теперь звери, а не люди. Говорят, по ночам шляются пьяные ватаги, если не французы, так русские мастеровые, от перепоя потерявшие всякий рассудок.

Он вернулся к девочке, не решив ничего. Она сидела вся съежившись, кутаясь в его плащ, и опять сказала:

– Ах, как мне холодно!

Она поминутно вздрагивала. Он сел рядом с нею на диван и молча глядел на нее. Луч луны падал прямо на них и освещал их лица. Теперь он мог разглядеть ее. Это была девочка лет десяти или одиннадцати, прелестная собою, с большими, темными, теперь несколько дико блуждавшими глазами, с тонкими чертами нежного бледного личика. Ее довольно длинные густые волосы беспорядочно падали вокруг хорошенькой головки.

Борис глядел на нее, не отрываясь. Никогда еще более милого ребенка он не видал в своей жизни. Ему казалось, что она не живое существо, что она сошла с какой-нибудь чудной картины. Такие лица иногда грезилась ему в его мечтах; но он не думал даже, что их можно встретить в жизни.

И вдруг эта девочка, которую он спас, даже не рассуждая о том, что делает, которую принес на руках в этот необитаемый дом и от которой за минуту перед тем ему так хотелось избавиться, вдруг она сделалась ему дорогой, близкой, будто он всегда знал ее, будто дороже ее. У него никогда никого не было. Теперь он уже сам не хотел расстаться с нею. Он позабыл об отце, матери, о больном брате. Все опасения, все тревоги исчезли. Он только глядел на нее, и она в свою очередь глядела своими большими, немигавшими глазами на его почти детское, нежное и привлекательное лицо.

Потом, высвободив из-под закутывавшего ее плаща холодные, тонкие руки, казавшиеся при свете луны совсем выточенными из мрамора, она крепко обвила ими его шею, припала головой к нему на грудь и горько, горько зарыдала.

– Милая, успокойся, не плачь! Зачем плакать... успокойся, пожалуйста, прошу тебя... да не плачь же! – почти с отчаянием, почти сам готовый разрыдаться, упрашивал он ее.

Но ее судорожные рыдания не прекращались. Она так и билась на груди его, все крепче и крепче обнимая его шею.

– Да отчего же ты плачешь? Ну, скажи мне!.. Ведь все прошло, теперь никто ничего с тобой не сделает... я никому не отдам тебя... я защищу тебя... я буду с тобою... Не плачь, не плачь, пожалуйста!..

– Ах, как страшно, как страшно! – вдруг сквозь рыдания проговорила она.

Но его ласковый, умоляющий голос, очевидно, на нее действовал. Ее судорожные движения мало-помалу начали ослабевать. Она затихла. Она только всхлипывала и все еще сжимала его шею, и все еще прятала голову на его груди. Наконец она совсем успокоилась. Ее руки упали, она откинулась на спинку дивана и, заметив, что вся разметалась в этом порыве отчаяния, инстинктивным, стыдливым движением стала кутаться в плащ, поджимая под себя ноги, прикрывая свои голые колени.

Борис, выросший с братом, привыкший к обществу взрослых мальчиков, всегда даже как-то чуждался тех девочек, которые иногда приезжали со своими родителями к ним в Горбатовское. И в последнее время, когда в его грезы стали вырваться какие-то полунебесные существа в женском образе, он все же наяву не находил им воплощения и даже отдалялся от общества своих сверстниц. Он не умел говорить с ними, не знал, чем занять их. Он почему-то считал всех девочек глупыми, неспособными заинтересоваться тем, что его интересовало, неспособными даже понять его мысли.

И вдруг теперь эта несчастная, маленькая девочка превратилась для него в самое возвышенное, самое дивное существо. И вдруг он нашел способность говорить с нею таким нежным, ласкающим тоном, какого у него не было даже в самых задушевных разговорах с матерью.

– Ну, вот и хорошо, – говорил он, – ты успокоилась! Зачем плакать, лучше скажи мне, кто ты? Что с тобою случилось, как попала ты в руки этого негодного солдата? Как тебя зовут?

– Меня зовут Ниной, – прошептала она.

– А тебя как? – вдруг спросила она в свою очередь, совсем по-детски, и выражая в этом «тебя» все доверие, которое она теперь почувствовала к своему избавителю. И это «тебя», это милое, доверчивое товарищество, внезапно между ними установившееся, наполняло сердце Бориса никогда еще не изведанным им блаженством.

Он сказал ей свое имя.

– Борис! Какое хорошенькое имя! – заметила она.

И еще раз повторила едва слышно: «Борис» и улыбнулась, будто не было сейчас этих отчаянных слез и рыданий, будто не было того ужаса, через который так недавно прошла она.

Она осторожно высвободила из-под плаща свою руку и крепко сжала руку Бориса.

– Вот так, так! – говорила она. – Теперь мне не страшно. Держи меня за руку, у тебя такие теплые руки, а мне так холодно. Ах, если бы ты знал, какая я бедная, несчастная девочка! Если бы ты знал, что случилось со мной! Я жила почти год с маменькой, здесь вот, неподалеку. Мы приехали из Горок, это наша деревня...

– А твой отец?

– У меня нет отца, он умер давно-давно, когда я была совсем маленькая, я даже его не помню. Маменька моя была добрая... я ее очень, очень любила, только она все больна была. Иной раз неделю и больше лежала. Приехал в Горки дяденька Алексей Иванович и уговорил маменьку в Москву ехать лечиться. Вот мы и приехали с няней, с Матреной, и долго здесь жили, только доктора не помогли маменьке... И вот уже три недели, как она умерла...

Девочка замолкла. Голос ее оборвался, из глаз брызнули слезы. Она старалась подавить их, но не выдержала и снова отчаянно зарыдала. Борис уже не пробовал ее теперь уговаривать. Он склонился к ней. Она все крепче и крепче сжимал ее руку, а другой рукой привлек к себе ее головку и тихонько целовал ее густые, мягкие волосы.

– Ниночка, бедненькая! – бессознательно повторял он.

– Нет, зачем плакать, зачем?! – вдруг произнесла она, сдерживаясь. – Няня правду говорит: слезами горю не поможешь. Я уже давно знала, что маменька не может жить на свете... Уж очень была она больна... бледная такая, прозрачная, и силы уже никакой не было. Протянет руку, хочет взять стакан – и не может. Я все возле нее сидела и пить ей давала... А она все пила воду: жажда у нее была такая. Похоронили маменьку на Ваганьковском кладбище. Привезла меня няня домой... Так пусто... пусто... жутко так... Все я тогда плакала, а няня мне говорит, чтобы я написала скорее дяденьке Алексею Ивановичу, чтобы он приезжал за мною в Москву. Тут у нас знакомых не было почти, а кто приезжал к нам, те уехали из Москвы еще до маменькиной смерти. Совсем мы, совсем как есть одни были с няней. Я написала... и стали мы ждать, когда приедет дяденька. А тут вдруг французы в Москву вошли, пожары начались... уж как мы с няней боялись, что и наш дом сгорит, пожалуй. Только прошел день, другой прошел, мы и выглянуть на улицу боимся... Страсть такая – огонь, дым, со всех сторон кричат... все падает... Я вся дрожу... няня меня успокаивает, молится... и вдруг, и вдруг, это вечером было, три дня прошло с тех пор, сидела я в маменькиной спальне, няня громко читала евангелие... Вдруг как вся комната осветится... к окошку мы кинулись – на нашем дворе горит. Надели мы на себя что попало, выбежали на улицу... дождь шел частый такой, большой дождь. Долго мы стояли, почти ночь целую. Больше половины дома сгорело, две комнатки только остались. А на другой день пожар потух. Мы в двух комнатах поселились, да все боялись, как бы крыша над нами не провалилась. Прожили еще день, другой прожили, и не стало у нас никакой провизии. Сегодня пообедали, а на завтра нет ничего: ни хлеба, ни картофеля, ни мяса. Няня взяла деньги, маменька ей все свои деньги оставила, да говорит мне:

«Я тебя, Ниночка, запру, посиди с часок, а я пойду куплю на завтрашний обед чего-нибудь, а то что же, не помирать же с голоду».

– А мы ведь вдвоем с няней. Матрена да Иван уже четыре дня как пропали... пропали да и только! Где они, Бог их ведает. Мне страшно одной без няни, а с нею идти еще страшнее. Я говорю: «Нянечка, хорошо, я останусь, только запрети ты меня хорошенько, чтобы никто войти к нам не мог».

«Кому теперь войти, – это няня мне сказала, – дом сгорел».

Заперла она меня и ушла. Я сижу, страшно мне... страшно... Плакать стала. Только вдруг, слышу, стучат. Думаю, ну слава Богу, няня вернулась. Только зачем же стучать ей, ключ-то она с собой взяла. Стучат все... бьют в дверь... упала дверь, и входят два француза. Кричат, бранятся, верно... я по-французски не понимаю. Стали все шарить, все перерыли... Да у нас уже взять было нечего. Няня только шкатулочку с маменькиными деньгами и вынесла из

пожара! Говорят мне что-то французы – я не понимаю, кричу только: няня, няня! Нет няни. Накинулись они на меня, раздели, все сняли, вот в одной рубашке оставили... Я уже не помню как и что было, только слышала – кричат... вдруг схватил он меня и понес, тут я еще пуще кричать стала... Тут выстрел... Это ты выстрелил? А потом я уже ничего не помню. Помню только, как ты меня положил вот тут на диван...

Она замолчала и опять глядела на него своими темными, испуганными глазами. Ее бледное личико, озаренное лунным светом, почти не имело в себе детского выражения. Да и в рассказе ее было видно, что она по развитию старше своего возраста. Она с рождения была окружена взрослыми, жила уединенной жизнью; успела уже много, много увидеть; успела пережить тяжелые и горькие впечатления, которые быстро развивают ребенка.

Конечно, Борис не разбирал всего этого и об этом не думал, но он это чувствовал. Она была для него не маленькая девочка. После этого ее признания между ними окончательно установилась полная близость.

– Ты голодна, Нина? – спросил он.

– Нет, – ответила она, – только мне все холодно. Он взял ее руки, стал согревать их своим дыханием.

Потом он привлек ее к себе, обнял. Она прижалась к нему и тихо шепнула:

– Я согрелась, теперь мне хорошо. Я ничего не боюсь... вот так пусть бы всегда было.

– Что бы всегда было? – спросил он.

– Так, эта комната... Луна чтобы вот светила... и ты, Борис...

Она приподняла головку, взглянула на него, улыбнулась и крепко-крепко, звонко его поцеловала, а потом как-то затихла.

Он сидел не шевелясь. Он слышал, как бьется ее сердце и как ее собственное сердце отвечает этому биению.

Свет луны погас, незнакомая комната потонула во мраке. Борис все не шевелился. Он почти ни о чем теперь не думал. Он погружался в какое-то полузабытье. Он чувствовал только одно, что никогда еще в жизни не было у него таких волшебных мгновений.

– Нина! – шепнул он.

Но Нина ему не ответила. Она заснула на груди его.

Прошло еще несколько минут, и она сама стала засыпать, уставший от этого дня, полного таких разнообразных ощущений.

IX. Утро

Оба они спали так крепко и безмятежно, как только можно спать в их годы. Но все же проснулись на рассвете, изумленно оглядываясь, с широко раскрытыми глазами.

Волшебный сумрак ночи исчез. Исчез лунный свет. Исчезли грезы. Дневная жизнь, действительность заявили свои права. И оба они сразу спросили друг друга:

– Что же нам теперь делать?

Перед Борисом была эта спасенная им и согретая прелестная девочка, с которой он не хотел бы никогда расстаться, но ясно сознавал теперь, что расстаться надо и как можно скорее.

Ему представлялся один исход, оставить ее здесь, в этом покинутом доме, в каком-нибудь укромном уголке, запереть ее хорошенько и бежать скорее разыскивать по ее указаниям ее старуху-няньку.

– Нина, подробно, хорошенько расскажи мне, где ваш дом.

Оказалось, что это очень близко, в том же переулке. Борис передал девочке свой план. Она испугалась, но должна была сознаться, что в таком виде, в каком была она, то есть в чулках, башмаках, коротенькой рубашке и плаще Бориса, ей будет очень холодно бежать по улице. Кутаясь в плащ, она вслед за Борисом отправилась осматривать помещение, в котором они находились. Они набрали на самую дальнюю маленькую комнату, где было всего одно окошко с двойными невыставленными рамами и с крепкими ставнями, запиравшимися изнутри.

– Вот ты останься здесь, Нина, а я вернусь скоро.

Но девочка вдруг громко и горько заплакала.

– Нет, не могу, не могу! – сквозь слезы повторяла она. – А что если ты не найдешь няню? А что если ты не вернешься... Ведь я умру... Нет, не могу, ни за что не могу!..

– Так как же нам быть?

– Я уж лучше побегу так, здесь близко, право, очень близко... Я не озябну...

– А если кто увидит, будет смеяться?

– Пусть смеются... Разве я виновата. Нет, милый... голубчик Борис, пойдем вместе. Я ни за что здесь не останусь...

Делать нечего, пришлось согласиться с нею.

Они прошли к выходной двери, Борис ее отпер, выглянул на улицу. Все пусто. Солнце еще не встало. Холодное, почти морозное утро.

Он повернулся к Нине, во мгновение закутал ее плащом, как только можно было лучше и, прежде чем она успела очнуться, схватив ее на руки, сбежал со ступенек крыльца.

– Куда? Говори... Показывай.

– Пусти меня, Борис, ведь я тяжелая, я сама добегу. Правда, мне не холодно!..

– Я так боюсь, что ты больна будешь после вчерашнего. Нет, ты легкая, я не чувствую совсем тяжести, или думаешь, что у меня силы мало? Говори!

– Налево... Все прямо теперь... Прямо...

Он побежал. Он, действительно, не чувствовал тяжести. Менее чем через пять минут они были уже у цели. Следуя указаниям Нины, он вбежал во двор, весь загроможденный обуглившимися бревнами, кирпичами, остатками обгорелой мебели.

– Вот тут... Вот это крылечко... – говорила Нина совсем упавшим голосом. – Господи, а что же если нет няни?!

Борис, все не выпуская Нину, изо всей силы стукнул ногой в небольшую дверь. Она была заперта. Он стукнул еще раз.

– Кто там? – послышался испуганный голос.

– Няня... Она! – радостно вскрикнула Нина. – Это я... Я, нянечка, отворяй скорей!

Дверь отворилась. Выглянула растрепанная толстая старушка и, увидя Бориса, державшего на руках Нину, всплеснула руками. Борис прошел в дверь и спустил Нину на пол. Старушка кинулась к ней, себя не помня, плакала, причитала, смеялась.

– Ниночка, барышня моя ненаглядная, золотая! А я-то уже не чаяла тебя видеть, все глаза выплакала. Господи, откуда ты? Что с тобою случилось? Что такое? О, Боже ты мой, моченьки нет! Прибежала я вчера... Дверь отперта... Тебя нету... Так и повалилась. Да, что же это ты, золотая моя, что на тебе?

Она распахнула плащ и, увидевши, что на Нине почти ничего не было, задрожала всем телом.

– Ахти! Что же это?.. Да где же твоё платьице?

– Няня, милая, успокойся! А то ведь как же я буду говорить, когда ты слова не даешь сказать.

– Говори, говори, родная... О, Господи!

Старушка крестилась, обнимала девочку. Потом с изумлением и страхом глядела на Бориса, который молча и как-то сконфуженно стоял перед нею.

Но вот наконец Борису и Нине удалось, перебивая друг друга, рассказать старой няне все, как было. Няня призатихла, жадно слушая их, не проронив ни одного слова. Потом вдруг стала она учащенно кланяться Борису.

– Спасибо тебе, сударик! Великое спасибо... Господь наградит тебя за доброе дело, что спас ты мою барышню, сиротиночку бедненькую... Господь наградит тебя...

– Только как же вы теперь будете? – вдруг, бледнея, спросил Борис. – Ведь мне надо домой, не мешкая, сейчас надо.

– Что же, батюшка, ступай – Бог не без милости! Уже я теперь ее, сердечную, ни на минуточку не оставлю, уже не отпущу ее от себя.

– Да ведь опять французы прийти могут. Опять сломают двери...

Старуха развела руками.

– За грехи Бог наказал – что уж тут. Одна надежда – приедет барин, Алексей Иваныч, возьмет нас. Да нет; я вот что сделаю. Мы пойдем отсюда... Вчера, Ниночка, я Матрену Степановну встретила, знаешь, чай, Матрену Степановну. Так она меня звала: приходите, мол, с барышней, господа вас примут с радостью. Дом их, вишь ты, цел остался, и две старые барышни из Москвы не уехали. Собрались было совсем, да что-то замешкались, а тут неприятель – и не довелось уехать. Теперь, говорит Матрена Степановна, у них французы постом стоят да никакого зла им не делают, а даже в защиту им от своих. Вот туда и пойдем. Это уж не так, чтобы очень далече...

– Так я и провожу вас! – быстро воскликнул Борис, радуясь, что есть какой-нибудь исход из этого невозможного положения.

Он чувствовал, что не в силах оставить Нину в этих двух комнатах обгорелого дома с бессильной старухой, за разбитой вчера пьяными солдатами дверью, которая еле запиралась на крючок и вся была расшатана. Но вдруг он смутился.

– Да как же она пойдет так? Я принес ее, конечно, могу опять нести. Только если это не очень близко, так ты поможешь мне, няня.

– Зачем ее нести, сама пойдет, – все еще дрожащая от недавних мучений и неожиданной радости, но в то же время лукаво усмехнувшись, сказала няня. – Изверги-то шарили, шарили, да не дошарили – сундучок-то здесь – не нашли его...

Она прошла в соседнюю комнату, за нею Борис и Нина. Тут в углу стояла кровать, на которой уже не было ни подушки, ни одеяла. Няня отодвинула кровать. Оказалось, что под нею открывается половица. Конечно, если бы вчерашние французы не были так пьяны, они были это заметили, потому что половица открывалась посредством ввинченного в пол кольца. Няня открыла половицу и из довольно просторного углубления под полом, с помощью Бориса,

вытащила сундучок. Она отперла его бывшим в ее кармане ключом, вытащила оттуда узелок с бельем, потом маленькую юбку, платьице, шелковый платок. Потом появилась небольшая шкатулка, обитая кожей, с медными углами.

– Тут вот все, что после барыни осталось, все ее бумаги да деньги. Слава тебе, Господи, все в сохранности! Ну, сударик, вот и есть во что одеть Ниночку, теплого только ничего нет, так ты уже дозволей ей в твоём плащике добежать.

– Само собой! – сказал Борис. – Только как же? Хотя и рано теперь очень, а все же можем с кем-нибудь из этих негодяев встретиться, увидят шкатулку... Отнимать станут.

– Так, так, батюшка, это точно, – озабоченно говорила няня, – куда же нам девать ее? Здесь оставить боязно!

– Конечно, здесь ее нельзя оставить. А вот что мы сделаем! – решил наконец Борис. – Отвори ты ее, няня, и выберем все, что в ней есть, себе по карманам. Видишь, какие у меня карманы большие, много в них поместить можно. Кое-что ты себе за пазуху сунешь, кое-что Нина под плащом пронести может.

Няня подумала немножко, подозрительно взглянула на Бориса.

– Богом клялась барыне не выпускать из рук шкатулку!.. – прошептала она.

Но делать было нечего, и она как будто сама устыдилась своей недоверчивости к Борису. Она отперла шкатулку маленьким ключиком. В шкатулке были бумаги, банковые билеты и некоторые драгоценные вещи.

В то время как она бережно выкладывала все это, Нина уже быстро надела юбку, платьице, повязала себе голову платочком, а сверху опять накинула плащ Бориса.

– Вот я и готова! – проговорила она, улыбаясь своей милой, грустной улыбкой и не то стыдливо, не то радостно поглядывая на Бориса. Она почти бессознательно радовалась тому, что теперь одета перед ним как следует. Через минуту все они трое, разместив за пазухой и по карманам бумаги и вещи, вышли во двор. Няня несла узелок с бельем.

– Брось, няня, брось, – сказала, заметив узелок, Нина, – накинута, отнимут...

Но няня покачала головой.

– Нет, барышня, коли встретим какого недоброго с виду человека, тогда ему в рожу и брошу узелок – пусть он им подавится. А может, с Божьей помощью и пронесем благополучно. А то как же тебе быть без чулок и сорочек?!

Нина замолчала. Они быстро пошли по переулку. Все по-прежнему было тихо, и они благополучно совершили свое небольшое путешествие, встретив всего несколько человек русских, которые даже не обратили на них никакого внимания. Наконец в одной из улиц няня остановилась перед довольно большим домом. Они прошли в калитку, добрались до заднего входа в дом. В доме все еще, очевидно, спали. Няня подобралась к знакомому ей окошку, постучалась, прислушалась, приложившись ухом к стеклу. Потом еще раз постучалась. Ее окликнул кто-то изнутри.

– Матрена Степановна, я это, я... Отвори, сделай Божескую милость!

Скоро дверь отворилась. Пожилая, почтенного вида женщина, по всем признакам экономика из хорошего дома, вышла на крылечко.

Няня сказала ей, в чем дело. Матрена Степановна пригласила их войти. Они прошли сенцы, потом коридорчик и очутились в светлой и веселенькой комнатке, чисто, хотя и незащипанно прибранной.

– Хорошо сделала, матушка, что привела барышню, – говорила Матрена Степановна, – давно бы догадалась! Ведь времена нынче какие?! Ну как так можно тебе, такой старушонке, вдвоем с дитей...

– Матушка ты моя, – отвечала няня, – да ведь уж и не знаешь, как быть-то! Ведь почему я осталась – со дня на день ждала, что Алексей Иваныч приедет... Приедет он, а дом-то пого-

релый, нас нету... Ну где он барышню искать будет?! Вот и теперь, привела я ее. Приютите, добрые люди! А сама опять туда... Буду ждать Алексея Ивановича...

– Это мы уладим! – сказала Матрена Степановна. – Вот господа встанут, проведу я к ним барышню, что-то они скажут – может, все и уладится. А вы, сударь? – обратилась она к Борису, только теперь обратив на него внимание. – Позвольте вас спросить – кто вы такой будете?

Борис смутился. Но няня его выручила. Она сказала, что он спас барышню, что, мол, не будь этого молодого барина, так Ниночки и в живых не было бы теперь.

– Ах, страсти! – говорила Матрена Степановна. – Вот времена! Вот Божеское наказание!.. Дети малые – и те чего-чего ни навидаются, как ни намучаются!

Она глубоко вздохнула и перекрестилась.

– Вы, сударь, обождите тоже, повидайтесь с господами... Они рады будут.

– Нет, я не могу больше! – сказал Борис. – Я должен домой идти.

Он выложил из своих карманов все, что было им взято из шкатулки, и передал няне. С каким бы наслаждением он остался еще с Ниной! Но грезы прошли. Он сознавал действительность.

– Прощай, Нина! – проговорил он. – А вы мне позволите наведаться? – спросил он, обращаясь к Матрене Степановне.

– Сделайте милость, всегда рады будем!.. Как же можно, большое одолжение... Прошу покорно... И господа рады будут.

– Прощай, Нина! – протягивая руки к девочке, повторил он.

Нина взглянула на него и вдруг бросилась к нему на шею крепко, крепко его целуя.

– Прощай, – говорила она, – только ты возвращайся непременно! Слышишь, Борис, – ведь вернешься, не обманешь?!

– Не обману, – сказал он ей.

– Возьми свой плащ! – вдруг, вспомнив, крикнула девочка.

Он не слышал ее и не понимал. Он поклонился Матрене Степановне, поклонился няне и скоро, скоро, ни на кого не глядя, вышел в коридорчик, в сени. Прошел через двор и выбежал на улицу.

Он остановился на мгновение, сообразил дорогу и помчался к Басманной, без шляпы, без плаща, полный тревоги, опасений, но в то же время с каким-то широким, новым, еще неизвестным ему чувством.

Х. Виноватый

В доме у Горбатовых Бориса хватились очень скоро.

Англичанин вышел к утреннему чаю несколько смущенный и объявил Сергею Борисовичу на его вопрос о сыне, что Борис, верно, гуляет в саду, хотя он сейчас обошел сад и нигде его не встретил.

– Когда же он вышел?

– Должно быть, очень рано! – ответил англичанин. – Я проснулся в восемь часов и увидел, что его уже нет в спальне.

Прошло с полчаса. Отец послал его разыскивать в саду. Но посланный вернулся, объявив, что его решительно нигде нет. Тогда началась тревога.

Быть может, он, несмотря на все запрещения, вышел на улицу. Спросили сторожа. Сторож сознался, что молодой барин еще почитай на заре приказал отворить себе калитку и приказал так властно, что он, сторож, не смел ослушаться.

Татьяна Владимировна, по обыкновению, не отходила от сына, и Сергей Борисович почти до самого обеда скрывал от нее отсутствие Бориса. Карлик немедленно же отправился разыскивать по городу своего любимца. Были разосланы люди. Одни возвращались, другие отправлялись на поиски. Но как же возможно было его отыскать в таком городе, как Москва! Сергей Борисович был в полном отчаянии. Он предчувствовал это. Он ежедневно боялся какой-нибудь выходки со стороны Бориса. С детства фантастический, своевольный мальчик, бродяга, искатель приключений!.. Он и негодовал, сердился на него, и в то же время понимал его, а пуще всего чувствовал теперь одно – что несчастнее его нет никого на свете... Как он скажет жене? Что с нею будет? Когда он воротится? Воротится ли? Ему представлялись всякие ужасы. Он не вытерпел и сам отправился на поиски. Бродил до обеда по улицам и вернулся, не найдя сына. К обеду вышла Татьяна Владимировна. Муж взглянул на нее и поразился выражением ее лица, оно все так и сияло счастьем.

– Володе лучше! Лучше! – восторженно объявила она. – Теперь нет никакого сомнения. Я долго думала, что Франц Карлович меня утешает, говоря, что произошел кризис и что начинается выздоровление. Теперь я сама вижу, что он прав. Пойдем, милый, пойдем... Взгляни на него... Он уже может сидеть... Жару никакого. Он с аппетитом выпил бульон... Да где же Борис? Володя зовет его...

– Борис! – крикнула она, думая, что он в соседней комнате; но никто не отозвался.

Муж молча стоял перед нею. Она взглянула на него и с изумлением отшатнулась.

– Что это?! Я принесла тебе такую радость, а ты такими глазами на меня смотришь?! Что случилось?!

И вдруг материнское сердце угадало истину.

– Борис! С ним что-нибудь?! Да говори... Говори, ради Бога... Не томи, не скрывай... Где Борис?! Что с ним?!

– Не пугайся, пожалуйста!! – через силу выговорил Сергей Борисович. – Поверь мне, страшного ничего нет.

– Да что с ним? Что случилось?!

– Бог милостив. Он здоров... только его нет... нигде найти не могут... с утра ушел из дому...

Она так и всплеснула руками.

– Господи! Да ведь он обещал не уходить... Ведь ты же распорядился, чтобы его не выпускали... как же это?! Ищут ли его?! Пошли скорее во все стороны.

– Это давно уже сделано, и я сам только что вернулся... Не тревожься только... конечно, он к вечеру вернется, и за такое непослушание надо будет строго взыскать с него. Пойдем к Володе и успокойся.

Они пошли к больному сыну. И это было большое счастье и для них, и для Бориса, что Владимир, действительно, оказался в лучшем состоянии. Эта радость, которую они так ждали и на которую уже совсем перестали надеяться, уменьшила томительность ожиданий и беспокойства. Между тем время шло. Давно наступили сумерки. Некоторые из посланных и карлик вернулись ни с чем. Нет Бориса – да и только! Горбатовы, карлик и почти вся прислуга, которая была искренно предана семейству, провели почти бессонную, тревожную ночь. Но вот пришло утро – беглец возвратился. Он вошел бледный, дрожащий, с опущенными глазами. Он уже понимал, сколько мук причинил отцу с матерью. Он едва сдерживался от рыданий.

Татьяна Владимировна кинулась к нему, охватила его крепко руками, прижала его к груди своей.

– Жив! Здоров! Ничего с тобой не случилось?!

Она, крепкая, сдержанная и хорошо владевшая собою женщина, вдруг почувствовала полную слабость и громко зарыдала. Сергей Борисович хотел встретить сына строгими упреками, гневом и не сумел этого. Он чувствовал себя возрожденным, счастливым, помолодевшим. Глаза его светились и выдавали его душевное состояние.

– Где же ты был, разбойник?! – крикнул он. – Говори всю правду! Посмотрим, есть ли у тебя хоть какое-нибудь оправдание...

Борис рассказал. Оправданий было много. Он спасал женщин и детей – этот новый рыцарь без страха и упрека.

– Ах ты, Дон-Кихот! – проговорил Сергей Борисович.

Мальчик взглянул на отца совсем обиженный, губы его дрогнули; но он не сказал ни слова. Сцена с безумным стариком, в которого он хотел стрелять как во француза, действительно, давала отцу право назвать его Дон-Кихотом. Но в то же время он чувствовал, что не виноват, что действовал не дурно. Не виноват с одной стороны и очень виноват с другой! Как же примирить это? И в первый раз в жизни ему ясно стало, что трудно, трудно совсем даже невозможно так жить и поступать, чтобы со всех сторон быть правым...

– А о брате и не спросишь?! – проговорил отец.

– Что он?! Что?! – испуганно шепнул Борис.

– Что! Иди скорей к нему... Он уже давно тебя ждет... давно тебя ждет и не понимает, отчего ты не идешь... Лучше ему, слава Богу! Только ты не вздумай, пожалуйста, рассказывать о твоих приключениях – это его взволнует...

– Не буду, конечно!

– А потом – слушай еще одно! – найдя вдруг в себе строгий тон, договорил Сергей Борисович. – Слушай! Ты доказал, что твоим обещаниям опасно верить, а потому уж не взыщи – теперь ты пленник!

Борис повесил было голову, но известие о том, что брату лучше, так его обрадовало, что он забыл пока все остальное и поспешил в комнату больного. Все обошлось. Несмотря на ужасную обстановку, среди занятого неприятелем, сожженного города, несмотря на все печальные обстоятельства в доме Горбатовых, в этот день был словно большой и радостный праздник. Что же касается хозяев, то они чувствовали себя такими счастливыми, будто вернулись самые светлые, самые лучшие дни их молодости. Один сын благополучно вернулся домой, другой выздоравливает – чего же больше!

С этого дня за Борисом, действительно, был назначен самый строгий надзор. Прислуге было дано строгое приказание не выпускать его из виду. Карлик прочел ему большую нотацию и даже довел его до слез, по своему обычаю, картинно изображая отчаяние Сергея Борисовича и Татьяны Владимировны.

Англичанин, внутренне очень даже одобрявший поступок своего любимого воспитанника, не показывал ему, однако, и вида, что доволен им; напротив, он корчил самую строгую, почти свирепую физиономию и ни на шаг не отходил от него. Борис скоро убедился, что он настоящий пленник, что теперь ему нечего и думать выйти из дому. А между тем ведь он дал обещание Нине известить ее, а между тем ведь он уже тосковал по ней и ему безумно хотелось ее увидеть. Конечно, если бы он захотел только, то мог бы, по крайней мере, иметь о ней сведения; он упросил бы кого-нибудь из прислуги, которая всегда была рада исполнить его желание, сходить по адресу и узнать, здорова ли Нина и вообще, что с нею. Но тут-то с ним и происходило что-то странное.

Борис никогда не был лгуном. Он просто не умел даже лгать, до сих пор ему никогда еще ничего не приходилось скрывать от родителей. Он и теперь, рассказывая им о своих приключениях, ничуть не лгал. Он подробно и обстоятельно передал им все свои впечатления, все встречи. Но все же в его рассказе был большой перерыв, а именно: объяснив, как он заперся со спасенной им девочкой в покинутом доме, он сказал, что провел там ночь, так как иного ничего не мог придумать. И затем продолжал: «Когда стало светать, я снес девочку к ее няне» и так далее. Перерыв был незаметен. Он не скрыл ничего. Действительно, расспросив Нину и успокоив ее, он заснул. Но тут был целый мир новых ощущений, о которых он не проговорился ни словом в своем отчете. Его слушателям представлялась Нина маленькой девочкой: ведь он ее носил, снес к няне. И никому, конечно, в голову не могло прийти, что Нина была для него не ребенком, а каким-то особенным существом. И теперь он думал почти ежеминутно об этой спасенной им девочке.

Он ни за что, ни за что бы в мире не решился никому признаться в этом. Никто не должен знать, что она для него и как он желает ее видеть...

Он надеялся, что ему удастся ускользнуть незаметно из сада. Он знал одно место, где, взобравшись на дерево, можно перелезть через высокий забор. Ведь он отлично умеет лазить. Да, он решительно готов был на вторичное бегство; он забыл все нравственные вопросы и соображения в виду той мучительной, томящей потребности хоть раз еще увидеть Нину, которая его охватила. Но за ним следили. Англичанин не покидал его. И так продолжалось несколько дней.

Наконец Борис не выдержал. Остаться далее без известий о Нине он был не в состоянии. Быть может, она заболела, простудившись в ту ночь. Быть может, ее уже нет на свете! И вдруг он решился на то, что до сих пор казалось ему невозможным. Он сознал, что наделал ужасных, непоправимых глупостей, что ему давным-давно следовало решиться, и тогда бы не было этих мучений... Он пошел к отцу и, хотя краснея и бледнея, но все же твердо попросил у него позволения в сопровождении гувернера и кого-нибудь из прислуги пройти по городу.

– Я должен навестить француженку и узнать, что случилось с девочкой...

– Пустяки! – сказал Сергей Борисович. – Если хочешь, расскажи, где это, – и я pošлю кого-нибудь.

– Нет, нет, я сам должен их видеть!

Он начал убеждать, начал доказывать, что ведь ничего не может с ним случиться, если он пойдет с прислугой.

– Ну, пусть трое, четверо идут со мной – только пустите! Я чувствую, что мне нужно освежиться. Папа, милый, пожалуйста, не откажите мне!..

Сергей Борисович задумался.

Когда сын говорил с ним таким тоном, когда он его так упрашивал и глядел на него такими глазами, как в эту минуту, он никогда не мог долго выдержать.

– Послушай, – сказал он, – если тебе уж так этого хочется – хорошо – я исполню твое желание, только с тем уговором, чтобы ты беспрекословно меня послушался... Хорошо, сделай прогулку, зайди в тот дом, где эта девочка, и узнай, что с нею... Но к француженке не

заглядывай – это совсем лишнее. Я могу тебя на ее счет успокоить. Ты знаешь, что я исполнил то, о чем ты просил меня относительно нее, и генерал Брошар сказал мне, что она вне всякой возможности нового нападения, весела и довольна. Если ты даешь мне слово, что не будешь порываться к ней, – то хорошо, ступай.

Борис едва мог скрыть охватившую его радость. Он, конечно, дал слово отцу не заходить к француженке. Он вовсе позабыл о ней и тут себя упрекнул в этом. Но вот она устроена, и Бог с нею... Не она, не она нужна ему!

– Позови ко мне мистера Томсона, – сказал Сергей Борисович...

Не далее как через четверть часа Борис, в сопровождении гувернера и трех рослых, сильных лакеев, вышел из дома. Его свита едва за ним поспевала. Он почти бежал по знакомой, хорошо намеченной им заранее дороге. Вот он у цели. Дом невредим, стоит на том же месте. Все как было в то памятное утро. Сердце Бориса шибко забилося.

– Подождите меня здесь, – сказал он гувернеру. – Ведь нельзя же нам всем войти.

– Хорошо, – отвечал англичанин, – только не задержите нас.

– Нет, нет!..

Он был уже во дворе, он стремительно подбежал к крылечку, а на крылечке том, будто поджидая его, стоит Матрена Степановна.

– Здравствуйте, Матрена Степановна! – радостно и в то же время тревожно крикнул он. Она всмотрелась.

– Ах, это вы, сударь! Милости прошу, войдите! Только вы опоздали, маленькая-то барышня вчера уехала.

– Как уехала?! Куда уехала? – растерянно говорил Борис.

У него и руки опустились, сердце почти перестало биться.

– Да, уехала маленькая барышня. Все вас поджидала, хотела проститься с вами.

– Куда же уехала? Разве теперь можно уехать?! Кто же теперь уезжает? Где она?

– А видите: ее дядя за нею приехал, братец ее маменьки покойной. На другой же день по приезде выхлопотал пропуск и увез ее с няней в деревню.

– Что же это такое, – прошептал Борис в отчаянии, – значит, я ее не увижу?!.

– Да уж теперь трудно увидеть. Только, батюшка, как знать, гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойтись может... А Ниночка как вас тоже желала видеть, даже плакала... добрая она, хорошая барышня. Так в эти дни мы ее полюбили и господа... Да, что же это я запаматовала совсем, ведь она вам записочку оставила. Маленькая такая барышня, а и читать и писать как хорошо умеет, – разумная. Да войдите, сударь! Я вам записочку дам, а то вот к господам пройдите. Может, они вам еще что-нибудь скажут.

– Нет, Матрена Степановна, мне некогда, меня ждут, – проговорил Борис, едва владея собою. – Я ведь только узнать, что с нею, боялся, не заболела ли... А записочку вы мне дайте.

– Сейчас, батюшка, сейчас!

Она ушла в свою комнатку и через минуту вернулась с записочкой.

Борис положил записочку в карман, распростился со старухой и вышел на улицу...

– Вот это хорошо, – сказал англичанин, – что вы так скоро. Что же, теперь обратно домой?

– Да, домой, конечно! – ответил Борис.

– Отчего у вас такой печальный вид, разве что-нибудь нехорошее с этим ребенком?

– Нет, ничего, все благополучно!

И Борис опять спешил, спешил, почти бежал. Он должен был скорее в уединении прочесть эту маленькую записку, которую сжимал в своем кармане, будто боясь, чтобы кто-нибудь ее не отнял. Вернувшись домой, он заперся в своей комнате, развернул бумажку. Карандашом, крупным детским почерком и с ошибками было написано:

«Ты не пришел, Борис, а я должна ехать. Дядя меня увозит. Я очень, очень хочу проститься с тобою, только ждать нельзя. Я буду всегда о тебе думать. Когда я тебя увижу? Я беру

твой плащ на память о тебе. Няня говорит, чтобы я непременно оставила, но я не хочу, ни за что не оставлю. Я его буду беречь и отдам тебе, когда ты сам придешь за ним. Приходи, я буду всегда, всегда ждать тебя. Нина».

Борис раз десять прочел эти строки. Потом спрятал записочку в свою заветную шкатулку, вместе с самыми дорогими ему вещами. Потом горько задумался, и вдруг он теперь понял, что любит Нину той особенной, странной, мучительной и сладкой любовью, о которой уже думал.

«Она зовет меня. Она будет всегда, всегда меня ждать. И я ее всегда ждать буду, и я искать буду, пока ее найду, и никогда я не разлюблю ее. Да, Нина, я найду тебя и приду к тебе!..»

Он долго сидел, погруженный в свои неясные грезы. И весь этот день он был такой странной, молчаливый, грустный и рассеянный, что мать не раз его спрашивала:

– Да здоров ли ты? Что с тобой?

– Здоров, здоров! Со мною ничего!..

А сам чуть не плакал.

Между тем Владимир быстро поправился. С ним, действительно, произошел спасительный кризис. Замечательно крепкая натура мальчика поборола странную, мучительную болезнь. Татьяна Владимировна надеялась, что припадок не повторится больше, потому что на этот раз мальчик был совсем иным, чем бывал в период мнимого выздоровления. Он ел с большим аппетитом, лицо его начинало видимо округляться, показался румянец. Он много спал и просыпался утром свежий и бодрый.

Вскоре обстоятельства позволили Горбатовым выехать из Москвы. Они переселились в Горбатовское, где прожили всю зиму.

Наполеон был побежден. Москва очищена, жители стали в нее возвращаться. Мало-помалу сглаживались ужасные следы неприятельского нашествия и пожара. Честь России была спасена, русский дух воспрянул, наступили годы славы.

Борис и Владимир вырастали. Они уже студенты. Жизнь кипит, сменяются впечатления. Быстро и разнообразно проносится лучшее время человеческой жизни. Но Борис, несмотря на перемены, происшедшие вокруг него и в нем, не забывает Нину. Он не знает даже ее фамилию, никогда он о ней ничего не слышит...

Через год, вернувшись в Москву, он отправился к Матрене Степановне, но ее не оказалось. Не оказалось и господ ее. Они выехали из Москвы, их дом отдавался в наем. Всякий след, по которому можно было отыскать Нину, исчез...

Борис уже превратился в совсем взрослого человека. Соблазны женской красоты действовали и на него, и он поддавался им. Он отдал дань юности. Но ни одна женщина, с которой он сходил, ни одна девушка, с которой он встречался, не успели овладеть всецело его сердцем и изгнать из него образ странного, маленького существа, которое Борис обставлял какими-то волшебными чарами.

Вот брат Владимир уже женился, и Борису представлялось немало партий. Даже родители его не раз указывали ему на девушек, которые могли бы подойти ему; но он не думал о женитьбе. Он продолжал упорно ждать Нину. Это ожидание не мучило его, оно вошло в привычку. Он твердо был уверен, что непременно ее встретит и должен был ее встретить свободным от всяких сердечных и иных обязательств человеком...

Теперь, вернувшись в Россию после долгого своего путешествия и сразу почти окунувшись в светскую петербургскую жизнь, он не мог, конечно, вообразить, что встретит Нину в этой обстановке. Ему казалось, что она принадлежит к совсем иному миру, куда он попадет когда-нибудь случайно, так же случайно, как и в первый раз встретился с нею.

А между тем весь день перед балом он испытывал странное ощущение. Он был в каком-то необычном нервном состоянии, будто ждал чего-то. Когда он вошел в залу, наполненную

блестящим обществом, это странное, томившее его ощущение еще усилилось. Он был рассеян, у него дух захватывало. Он не мог ни на чем сосредоточиться.

И вдруг перед ним мелькнул образ бледной девушки – и он узнал в нем Нину.

Он давно знал и встречал много раз у своей матери княгиню Маратову, но никогда не слышал, что у нее есть племянница. Да если бы и услышал, то что же бы ему сказало имя *mademoiselle Lamzine*?! А главное, Нина менее двух лет как живет у тетки. Она приехала в Петербург уже в то время, как он был за границей.

Княгиня Маратова, к которой Нина подвела Бориса, очень изумилась, что племянница давно с ним знакома, и еще больше изумилась, когда та ей сказала, что это тот самый мальчик, который спас ее во время французского нашествия. Маратова, пожилая вдова, была известна в петербургском обществе своей толщиной и неизменным присутствием всюду, где только собирались люди. Круглое, несколько обвисшее лицо, чуть ли не с тройным подбородком, маленький вздернутый нос, черные усики в углах губ, круглые живые и умные глаза и толстые локоны, болтавшиеся с обеих сторон вдоль щек, делали ее необыкновенно похожей на откормленного, породистого кинг-чарлза. Она наговорила Борису кучу всякого милого вздору и кончила тем, что надеется его у себя видеть в самом скором времени, чтобы из уст его услышать интересный рассказ о старинных его приключениях с Ниной.

– *Ma mère sera charmée de vous revoir!* – добавила она. – Она так любит нашу Нину и всегда заставляет ее рассказывать об ее детстве и о московском пожаре.

– Я завтра же буду у вас, если позволите! – сказал Борис.

– Пожалуйста, мы будем ждать вас.

Он раскланялся, отошел и глядел, как Нина, приглашенная в это время на танец, легко и грациозно носилась среди грома музыки, среди блеска и света горячей атмосферы бальной залы.

А княгиня Маратова думала:

«Вот приютили сиротку, да кто знает, быть может, она такую еще партию сделает, что все эти барышни с громкими именами себе локти кусать станут... *Ce jeune Gorbatoff... qui sait?!*»

XI. «Генеральша»

Дом, в котором теперь приходилось жить Нине, помещался недалеко от Таврического сада. Он принадлежал старой генеральше Пронищевой, матери княгини Муратовой. Это было большое одноэтажное с мезонином здание, с широким двором, где помещались флигели для прислуги, конюшни и сараи. За домом шел небольшой густой сад. Ворота стояли всегда на запоре. Шторы почти во всех окнах, выходящих на улицу, были всегда спущены, и вообще дом, хотя и представительной внешности, но уже потемневший, закопченный от времени, имел мрачный вид. Казалось, будто в нем или никто не живет, или что тут кто-нибудь очень болен. Это последнее предположение представлялось тем более вероятным, что время от времени почти во всю ширину улицы перед домом настился толстый слой соломы, для того чтобы заглушить езду экипажей, хотя в этой части города езды было немного.

Между тем в доме не было больных и жило в нем очень много народу. Хозяйка дома, из старого рода князей Унжицких, когда-то, в начале царствования Екатерины, играла видную роль в петербургском свете. Она была очень красива, имела большое состояние, всегда была окружена толпой поклонников. Она провела веселую, шумную молодость, не спешила замуж, но в конце концов, лет под тридцать, все же вышла за молодого гвардейского офицера Пронищева.

Она могла по своему положению, связям и богатству сделать гораздо более блестящую партию. У нее в течение нескольких лет было много прекрасных женихов, но потом женихи эти как-то вдруг стали отставать. Поговаривали, что княжна Унжицкая слишком веселого характера и слишком легких нравов. Про нее ходило немало рассказов. Но, конечно, в те времена, не отличавшиеся особенной нравственностью, княжна не могла себе много повредить своей веселой жизнью. Рассказы об ее приключениях не могли отвадить от нее женихов, которые, сватаясь к ней, искали в будущей подруге жизни не семейных добродетелей, а связей и хорошего приданого.

Женихи отстали просто потому, что княжна вовсе не хотела выходить замуж, ей было и так весело. Матери своей она не помнила, из отца, старого ничтожного человека, не чаявшего в ней души, она делала все, что ей было угодно. Но вот или годы такие пришли, или каприз на нее нашел, она вдруг оповестила своих друзей и знакомых, что выходит замуж за Пронищева. Все изумлялись, никто не считал его подходящим к ней женихом. Он даже за ней никогда особенно не ухаживал, да и встречались они нечасто. Но, остановив на нем свой выбор, княжна не стала долго задумываться. Она сама, как потом рассказывалось не без основания, сделала ему предложение. Он подумал, сообразил и не стал отказываться.

Через полгода после их свадьбы умер ее отец. Она поделила с единственным своим братом прекрасное состояние и поселилась в доме близ Таврического сада. Муж ее служил и шел в гору. У нее родилась дочь и затем детей больше не было. Между тем поговаривали, что бывшая веселая княжна несколько ошиблась в выборе мужа. Она рассчитывала найти в нем полное снисхождение к своему прошлому, настоящему и будущему. О прошлом он, действительно, не вспоминал, но что касается настоящего своей супруги, оно его интересовало в значительной степени. Бывшая веселая княжна хотя и показывалась по-прежнему в обществе, и хотя по старой памяти и позволяла себе легкомысленные выходки, но уже, очевидно, с опаской. Затем случилось так, что вдруг она исчезнет, сказывается больной, никого не принимает – и продолжается это месяца два, иногда более.

Рассказывали, что за каждый легкомысленный поступок Пронищев не только взыскивал с нее, но, будучи человеком горячим, иной раз просто-напросто прибегал к кулачной расправе. Люди, часто бывавшие у них в доме, иногда оказывались свидетелями бурных сцен, во время которых Пронищева всегда притихала, делалась ниже травы, тише воды.

«Блудлива, как кошка, труслива, как заяц», – говорили про нее.

И это было справедливо. Она стала очень бояться мужа и, несмотря на то, что он был ей всем обязан, так как она взяла его за себя нечиновным, почти безродным человеком, без всякого состояния, она вдруг оказалась вынужденной признать его своим главой. Чувствуя себя очень часто виноватой, она всегда была настороже, начинала дрожать от первого резкого звука его голоса. Проводя жизнь в измышлениях как бы провести его, избежать его гнева и иных весьма чувствительных для нее последствий этого гнева, мысль о том, что достигнуть этого не особенно трудно, стоит только вести себя как подобает верной и любящей жене, никогда не приходила ей в голову. Она не могла отстать от своих укоренившихся привычек.

Находясь в постоянном страхе, зная, что за нею учрежден очень деятельный присмотр, она, тем не менее, уловив удобную минуту, посылала то тому, то другому из намеченных ею молодых людей *billets doux*, назначала со всеми предосторожностями тайные свидания. Избегать ответственности ей почти никогда не удавалось, но, тем не менее, она не была в состоянии измениться. С каждым годом она сильнее и сильнее боялась мужа и в то же время чаще и чаще рассылала свои *billets doux* и назначала свидания.

Дочь свою она любила, хотя, конечно, по-своему. Мало обращала на нее внимания и всецело доверила наемным воспитательницам, которые то и дело менялись в доме, так как у хозяина был самый неуживчивый характер и он ни с кем не стеснялся. Покажись ему что-нибудь неладным, сейчас – марш, вон, без рассуждений! – и конец делу.

Но время шло. Госпожа Пронищева, теперь уже бывшая генеральшей, несмотря на все притирания и прочие косметические средства, начала значительно терять свою красоту, приближаться мало-помалу к старости. Дочку свою Машеньку она выдала замуж за князя Маратова, человека уже не молодого, но, во всяком случае, представлявшего из себя очень хорошую партию. Борьба ее с мужем продолжалась. Но теперь к этой борьбе примешалась и другая. Приходилось бороться и с теми, к кому посылались *billets doux*. Приходилось побеждать их сначала с большим трудом, а потом даже с большими денежными жертвованиями.

Генерал Пронищев, будучи главой дома и «строго наказывая жену», несмотря на это, оставил в ее руках и распоряжении все денежные средства.

«Это не мое, – говорил он, – я имею только свое жалованье, заслуженное мною, и в употреблении его не даю никому отчета».

Генерал, решительный и храбрый воин, которому, однако, в начале его военной карьеры пришлось воевать не особенно много, принимал участие в итальянском походе Суворова, не раз отличался, снискал расположение знаменитого полководца и по возвращении в Петербург был награжден по заслугам. Он еще был далеко не стар, и для него теперь открывалась самая блестящая карьера. Но, сильно простудившись во время трудного похода и не обратив должного внимания на эту простуду, он вдруг стал хиреть. Проскрипел два года и – умер.

По-видимому, генеральша, освободившись от своего «тирана», должна была почувствовать себя легко и свободно. Полагали, что теперь она, несмотря на свои немолодые годы, снова развернется. Но случилось совсем обратно. Она оказалась неутешной вдовой: прекратила все выезды, заперлась в своем доме, спустила шторы и принялась оплакивать мужа. Раз в неделю, закутанная под густой вуалью, она садилась в карету и отправлялась в Александро-Невскую лавру, где был похоронен генерал; слушала там обедню, служила панихиду, сидела долго на его могиле, возвращалась домой и в течение недели никуда не выезжала и не выходила. Затем опять такая же поездка в лавру.

Так проходил месяц, другой, третий. Прошел целый год. Все были изумлены. А каприз все же не проходил. Никто уже не получал от нее *billets doux*, никому она не назначала свидания. Она принимала у себя весь город, но только с визитами. Более десяти минут у нее никто не засиживался.

Стали проходить годы. Образ ее жизни не изменялся. Она дышала воздухом раз в неделю, отправляясь в карете в лавру и жила так и зимой и летом, никуда не выезжая и даже в самые жаркие летние дни не выходя из своей комнаты. Овдовела ее бездетная дочь и переехала к матери. Потом у нее в доме поселился ее холостой брат, князь Унжицкий. И дом этот в течение более двух десятков лет не изменялся ни в чем. Шторы в будуаре генеральши, откуда она не выходила, и во всех парадных комнатах были всегда опущены. Сюда не должно было доноситься никакого шума, поэтому многочисленная прислуга жила во флигелях. Просторный мезонин был занят старым князем. Княгиня Маратова занимала совсем отдельное помещение, соединявшееся с парадными комнатами и будуаром матери посредством длинного коридора...

Генеральша, в каком-то порыве раскаянья, давшая обет на могиле мужа всегда его оплакивать и до конца дней своих вести затворнический образ жизни, начала с того, что стала исполнять этот обет чисто из страха. Она боялась, что если нарушит его, то покойник придет к ней с тем, чтобы наказать ее. А затем она уже привыкла к своей новой жизни, втянулась в нее, разленилась и не хотела ничего другого. Она проводила день за днем без всякого изменения. Вставала ровно в одиннадцать часов. Потом сидела перед зеркалом и с помощью привыкшей к ее причудам компаньонки убирала свои седые волосы в вычурную прическу Екатерининского времени, сурмила себе брови, белилась и румянилась. Затем облакалась в пышную робу, такую же старомодную, как и прическа, и выходила в свой будуар, где не только были спущены шторы, но даже спущены и тяжелые занавеси, так что самый яркий луч солнца не мог сюда проникнуть.

Комната эта была какая-то немного выцветшая, но богатая коробка с скрытыми окнами и дверями, с тяжелым ковром, заглушавшим шаги, уставленная старинной прекрасной мебелью и всевозможными безделушками. Генеральша помещалась в огромном покойном кресле со всевозможными приспособлениями, обкладывалась подушками. Неподалеку от этого кресла на небольшом мозаичном столике горела лампа под темным абажуром. Прямо против кресла генеральши, на темном фоне обитой бархатом стены, висел портрет покойного «тирана» в полном генеральском мундире Павловского времени, со всеми знаками отличия, в тяжелой вычурной раме, наверху которой помещался герб Пронищевых, поддерживаемый с двух сторон какими-то неслыханными зверями.

Генеральша в этой бархатной комнате, освещавшейся бледным светом лампы, казалась видением минувшего времени – со своей напудренной прической, в своей робе. Но она достигла цели. Это освещение делало ее на вид очень молодой и привлекательной, скрывало густой слой белил и румян, лежавший на увядших щеках ее. В настоящее время генеральше уже было лет семьдесят пять. Она высохла, сморщилась, но все еще в темноте производила впечатление. Глубокие черные глаза ее иногда так и горели из-под разрисованных, насурмленных бровей.

Просидев несколько минут неподвижно, пристально глядя на портрет покойника, генеральша протягивала руку к сонетке, звонила. Через минуту шевелилась портьера, неслышным шагом появлялся благообразный старый лакей, неся серебряный подносик с кофе и печеньем. Вслед за кофе тоже неслышно вбегала в будуар маленькая мохнатая белая собачонка и укладывалась на подушке у генеральшиных ног, ожидая обычного кормления сахаром.

Таким образом проходило полчаса времени. Тогда генеральша звонила вторично, и на этот звонок являлась молоденькая девушка, одна из шести воспитанниц генеральши.

Вот уже двадцать лет как Пронищева брала к себе на воспитание одновременно шесть бедных девочек, особенно ей рекомендованных. Они жили в ее доме под надзором пожилой гувернантки, которой генеральша очень доверяла, учились, к ним даже приглашались учителя. Эти девочки, выйдя по большей части из простого звания, превращались в настоящих барышень. Затем, когда они достигали двадцатилетнего возраста, генеральша входила в сношения с известною ей давно свахой, представлявшей ей список женихов. Устраивались смотрины,

выбранный жених представлялся генеральше, и в скором времени в доме праздновалась свадьба. Воспитаннице выдавалось приданое и некоторая сумма денег, иногда даже довольно значительная, если девушка оказывалась из генеральшиных любимиц. Таким образом, в женихах никогда не было недостатка, тем более что воспитанницы выбирались почти всегда хорошенькие собою. На место выбывших брались новые, в возрасте от десяти до тринадцати лет.

Относительно генеральши обязанности этих воспитанниц состояли в очередном при ней дежурстве для ухаживания за нею и для чтенья. Таким образом, каждая девочка дежурила раз в неделю. По воскресеньям дежурств не бывало. Генеральша, возвратясь из Александро-Невской лавры, призывала к себе сразу всех шестерых воспитанниц вместе с их гувернанткой и беседовала с ними...

Дежурная девушка, войдя по звонку в будуар, подходила к ручке благодетельницы, осведомлялась о здоровье и затем дожидалась приказаний. Генеральша обыкновенно начинала с того, что приказывала приподнять немного абажур лампы, оглядывала пристально воспитанницу и делала ей свои замечания.

– Что это, матушка, как ты нынче причесана? Нечего эти локоны взбивать... Чтобы в другой раз я тебя такой мохнатой не видала!.. Вот, гляди...

Генеральша протягивала руку к столику, выбирала картинку, изображавшую какую-нибудь молодую девушку в самой невозможной прическе. У нее всегда на столике была целая коллекция таких картинок.

– Гляди... вот, гляди хорошенько и в следующее дежурство изволь точно так быть причесанной!..

– Слушаю-с, ваше превосходительство, – покорно отвечала девушка.

– Картинку ты с собой возьми, только смотри не истрепи, не испачкай. Причешись точно так же и принеси с собой картинку. А это что? Дай-ка, матушка, сюда руку... дай-ка... Никак это ты ногти грызешь – бесстыдница?!

– Я не грызу, ваше превосходительство.

– Не лги, не запирайся... грызешь... Экая скверная привычка! Чтобы впредь этого я не видала. Изволь носить длинные ногти.

Наконец осмотр и замечания оканчивались, генеральша приказывала девушке взять книгу, сесть возле лампы и читать.

Книга обыкновенно была какой-нибудь французский роман. Все воспитанницы должны были хорошо говорить по-французски. Чтение начиналось, но с ежеминутными перерывами. Генеральша останавливала:

– Постой... остановись... *je dois me rappeler j'ai oublie l'histoire de ce Gustave... et puis... la jeune comtesse... elle était la fille... la fille non, je ne me rappelle plus... raconte moi le commencement.*

Начало романа было читано другими воспитанницами, но каждая из них должна была изучать книгу, которая читалась генеральше.

Девушка начинала рассказывать. Старуха опять прерывала, пускаясь в рассуждения. Критиковала, находила в романе недостатки, несообразности.

– Ну, как же это можно, – говорила она, – они встретились на балу, а я не знаю, в каком же она была платье!

– Тут сказано, ваше превосходительство (воспитанницы должны были в разговоре с генеральшей как можно чаще титуловать ее), – тут сказано, что она была вся в розовом... *toute en roze.*

– *Toute en roze!* Что это значит? Этого мало. Он должен подробно описать ее туалет, и материю, и фасон, и все, одним словом. А то как же я могу себе представить! Глупо, глупо теперь пишут... скучно... не читай больше – оставь книгу!

Девушка закрывала книгу и ожидала дальнейших приказаний.

Генеральша начинала спрашивать обо всем, что делалось за эту неделю в доме. Сама она никогда ничего не могла видеть, так как только раз в неделю проходила по парадным комнатам, для того чтобы сесть в ожидавшуюся ее старинную тяжелую карету и ехать в лавру. Но она у всех все спрашивала, всем интересовалась.

Она прерывала рассказ воспитанницы.

– Стой, лжешь! Кучер Михайло был третьего дня пьян и его свели в полицию, а ты говоришь, что он возил вас кататься?

– Извините, ваше превосходительство, я ошиблась, возил нас не Михайло, а Петр.

– То-то же, смотри – не ошибайся. Отчего это во вторник Катя (одна из воспитанниц) весь вечер проплакала?

– Не знаю, ваше превосходительство.

– Лжешь, знаешь!

– Да, право же, не знаю!

– Лжешь, знаешь, говори...

– Да мы у обедни были у Всех Скорбящих, – запинаясь, с трудом выговаривала девушка, – и в церкви какой-то офицер вдруг подошел к Кате и что-то шепнул ей. А Надежда Николаевна (это гувернантка) стала потом допытываться: кто да кто? А Катя совсем его не знает. Обидно ей стало – вот она и плакала.

– Лжешь, лжешь! – вдруг накидывалась на нее генеральша. – И чего же вы лжете, противные девчонки! Неужто не знаете, что от меня ничего не скроешь!

– Да я не лгу, ваше превосходительство, – уже со слезами на глазах произносила девушка. – Я ничего больше не знаю...

– Знаешь, знаешь, отлично знаешь, что этот офицер сунул Катке записочку, а та ее в карман. А когда Надежда Николаевна дома стала ту записочку требовать, она ей ее не отдала, а съела. Еще раз какая-нибудь из вас так поступит, то будете наказаны. Мало того, я выгоню виноватую. Я вас пою, кормлю, воспитываю, обучаю не для того, чтобы вы негодницами делались. Вы должны жить честно, на мужчин не заглядываться, записок от них не принимать. Время придет, замуж выйдете, так ведь я перед вашими мужьями должна быть права.

И она принималась читать целую лекцию о том, как должны вести себя благопристойные девицы. Она требовала от своих воспитанниц именно того, чего никогда в жизни от самой себя не требовала. За нравственностью девушек следили в доме еще гораздо строже, чем когда-то следил «покойник» за нравственностью генеральши.

Наконец генеральша отпускала от себя воспитанницу завтракать.

Потом к ней входил князь – ее брат, которого она называла не иначе как *mon frère*, в очень важных случаях – братец, и дочь ее, княгиня Маратова. Они приходили позавтракав, и вслед за ними лакей вносил завтрак генеральши.

Княгиня должна была передать матери все городские новости; сказать, где она была накануне, кого видела. Генеральша подробно обо всем спрашивала, интересовалась всякою мелочью.

Несмотря на то что княгине было уже под пятьдесят лет и что при этом она отличалась, как уже сказано, замечательной толщиной, генеральша до сих пор продолжала считать ее чуть не девочкой и частенько допытывалась:

– Ну, а кто же теперь твой *aborateur*? Кто за тобой увивается? С кем махаешься, матушка? Нет ли кого на примете?! Я вот все жду, что нового зятя мне представишь. Только будь, *chère amie*, осторожна, посоветуйся сначала со мною.

– Ах, *patan!* – смеясь, говорила княгиня. – Что это вы, право... Да я давным-давно всякие мысли о замужестве бросила, в мои ли годы об этом думать... *Et avant tout je ne veux pas être ridicule...*

– Ну, ну, что уж так! Ты еще молода, зачем не выйти замуж, не все же вдоветь. А увиваются? Увиваются? Признайся?!

Княгиня пожимала плечами.

– Mon oncle, – обращалась она к дяде, – хоть вы скажите, тамап, что за мною, за этакой тушей, за старухой, никто увиваться не станет. Темно тут так, что ли, что она меня не видит.

Старый князь, не отличавшийся словоохотливостью, на обращение племянницы вставал со своего места, подходил к ней, целовал у нее ручку.

– Ну, какая же ты туша?! Какая старуха?!

Входил лакей и докладывал: князь такой-то.

– Проси! – поспешно вскрикивала, вся встрепенувшись, генеральша.

Она охорашивалась, просила еще больше спустить абажур лампы, принимала в своем огромном кресле грациозную позу и ожидала гостя.

Несмотря на то что генеральша более двадцати лет не покидала своей комнаты и, по-видимому, сделала все, чтобы порвать связи с обществом, общество ее не забывало.

ХII. Закат веселых дней

Прежняя ее жизнь и приключения были хорошо всем памятливы и в виде легенды передавались молодому поколению. Теперь над ее странностями, причудами, темной комнатой, туалетом Екатерининских времен потешались. А между тем почти все представители высшего петербургского общества считали почему-то своей обязанностью время от времени навещать ее. С годами визиты эти вошли просто в обычай, заняли место среди параграфов кодекса светской жизни.

Все очень хорошо знали, что генеральша принимает от трех до пяти часов, а в другое время, кто бы ни приехал, – всем отказывает. И в эти часы в ее темном будуаре собиралось почти ежедневно самое блестящее общество. Маменьки привозили ей показать только что вступивших в свет дочек. Молодые люди спешили к ней с известием о каком-нибудь своем служебном повышении. Ей первой объявлялось о светских помолвках. Пожилые люди, сановники являлись к ней в назначенные часы, как в клуб, хорошо зная, что в темном будуаре этой напудренной, нарумяненной и набеленной старухи всегда можно встретить какого-нибудь нужного или интересного человека, узнать какую-нибудь новость, приготовить почву для какого-нибудь дела.

Каким образом все это устроилось, решительно непонятно. Положим, покойный генерал в последние годы своей жизни был на виду, отличался в походе, пользовался милостью императора Павла, а затем и вступившего на престол Александра Павловича. Но ведь он так давно умер, что времени прошло слишком много для того, чтобы забыть даже и не такие заслуги, и не такое положение человека! У Пронищевой теперь уже не было влиятельной родни. Она даже и при другом образе жизни не могла бы рассчитывать на видную роль в высших сферах. А между тем, нисколько этого не желая, не думая и даже не замечая этого, она, благодаря какому-то непонятному капризу судьбы, играла роль.

Все говорили: «Глупая, выжившая из ума старуха... смешная, нелепая старуха!» И все же все к ней ехали, сплетничали ей, советовались с нею, повергали на ее суд и критику всевозможные вопросы светской жизни.

«Вчера у Пронищевой говорилось о том-то... Пронищева сказала... Пронищева находит то и то...» «Ах, Боже мой, кто же обращает внимание на слова этой полоумной старухи... только Пронищева и может так рассуждать!» А между тем об ее рассуждениях, мнениях, ее приговорах говорилось, с ними приходилось считаться – и считались.

«Ах, какая скука ехать в такую даль, в эту мрачную гробницу... к этой мумии!» И ехали, потому что все к ней ездят, потому что это принято.

Для каждого молодого человека, вступившего в свет и начинавшего так или иначе карьеру, было неизбежно быть представленным Пронищевой, и день этого представления был иногда знаменательным днем в жизни молодого человека, особенно если он был из приезжих, если он не успел еще себе составить солидных связей и полезных знакомств. Он непременно должен был встретить в этой темной комнате, где пахло всегда пылью и какими-то каплями, очень влиятельных людей, которым любезная хозяйка его непременно представляла, иногда, впрочем, очень странным образом.

Она принимала всех, ко всем относилась с одинаковой любезностью; но люди без титула никаким образом не могли быть в ее комнате. Тут все были князья, графы, бароны и генералы. У кого недоставало титула, тому она сама его придавала. Является, например, молодой человек с самой неблагозвучной фамилией. Она его представляет своим гостям: «Сын генерала такого-то» или: «Внучек генеральши такой-то». И ему нет никакой возможности поправить ошибку, заявить, что отец его никогда и не думал быть генералом или бабушка – генеральшей. Это было бы безумие, он сделал бы дерзость любезной хозяйке и навсегда был бы лишен возможности

попасть в это святилище, без которого ему нельзя было обойтись, если он желал чего-нибудь достигнуть. За некоторыми молодыми людьми так и осталось прозвище «пронищевских генеральских сыновей и внучат». Но это прозвище ничему не мешало, даже и оно клало на человека особенную печать. Он бывает у Пронищевой – значит, его всюду принять можно.

Генеральша, полулежа в своем кресле, внимательно насторожившись, слушала своих гостей, расспрашивала обо всех подробностях вчерашнего бала, о придворных новостях и слухах. Она приветствовала новых входивших гостей, знакомила незнакомых между собой, прибавляя неизбежный титул.

К пяти часам она начинала чувствовать утомление и голод. Ничего интересного уже не оставалось, все рассказано, разобрано, решено. В соседней комнате раздается густой звук огромных старинных часов – бьет пять. Генеральша хватается за сонетку. Появляется лакей.

– Никого не принимать больше! – говорит она. Все встают, прощаются и уезжают.

Она опять звонит.

– Обедать!..

Тут на сцену появляется новое лицо – Пелагея Петровна, компаньонка генеральши, старая девица невзрачного вида, всегда носящая черное шелковое платье и гладко зачесывающая с височками жидкие, какого-то бурого цвета волосы. Глаза у Пелагеи Петровны всегда полузакрыты. Нос такой маленький, что его как будто совсем нет, рот сложен сердечком. Двадцать лет генеральша неразлучна с Пелагеей Петровной. Двадцать лет, изо дня в день, Пелагея Петровна является в темную комнату ровно в пять часов и начинает в ней хозяйничать. С этого момента генеральша уже ни для кого не существует, что бы ни случилось, какая бы до нее ни была надобность, – самым близким к ней людям, даже дочери ее, нельзя войти. В самом крайнем случае можно вызвать Пелагею Петровну, ей сообщить что следует. Но уже Пелагея Петровна решит, стоит ли дело того, чтобы доложить немедленно генеральше, или можно подождать до утра.

Генеральша обедает на маленьком столике, который придвигается к ее креслу. Пелагея Петровна ей прислуживает, принимая кушанья от лакея, остающегося за портьерой. После обеда скатерть снимается со столика, появляются карты, начинается нескончаемый пасьянс, в промежутках которого Пелагея Петровна сообщает генеральше все домашние сплетни, все мелочи из жизни княгини-дочери, князя-брата, воспитанниц, их гувернантки, приходящих учителей и учительниц, прислуги, начиная со старшей горничной, буфетчика и кончая последней судомойкой и поваренком.

Эти сплетни спален, девичьих, кухни и кучерской точно так же интересуют генеральшу, как и сообщенные ей от двух до пяти часов истории и сплетни из большого света. Очень часто генеральша, в свою очередь, передает Пелагее Петровне о том, что слышала от своих гостей.

– А знаете ли, Пелагея Петровна, – говорит она вдруг, откладывая карты и подпирая высушенной рукой в браслетах и кольцах дряблую, накрашенную щеку, – знаете ли, что графиня Соменова ставит мужу рога. Третьего дня у нее родился ребенок, Николаем назвали, носить будет графскую фамилию – а чей он?!

Ротик Пелагеи Петровны совсем превращается в сердечко, глазки вдруг раскрываются.

– И скажите, пожалуйста, дела какие! – протягивает она с небольшим присвистом.

– Да, матушка, это верно! А чей он ребенок, я тебе спрашиваю – как ты полагаешь?

– Не знаю я, матушка, ваше превосходительство, откуда же мне знать-то!

– А я знаю чей он – князя Николая Ивановича. Князя-то знаешь, чай, вчера он у меня был?!

– Знаю, матушка благодетельница, знаю, как не знать.

– Ну, так вот это его ребенок.

– О, Господи, вот дела-то!

– Да и Николаем она его в честь князя назвала. А муж радуется – сын и наследник – давно ждал!..

Генеральша улыбается. Хихикает тихонько и Пелагея Петровна.

– А ловкая бабенка эта графиня! – вдруг вся оживляясь и говоря таким тоном, какого, конечно, никто никогда не мог бы и подозревать в ней, замечает генеральша. – Ловкая бабенка! А все же я в мое время была ее ловчее. Знаете ли, матушка Пелагея Петровна, что со мною раз случилось?

И начинается рассказ о каком-нибудь любовном приключении со всевозможными неожиданными и скабрёзными подробностями. И передает генеральша этот рассказ с видимым наслаждением. Она оживлена, она поднимается с кресла, глаза ее сверкают. Она смеется своим старым, дребезжащим смехом, и ей в ответ присвистывает и хихикает Пелагея Петровна. Вот тайна этой дружбы, тайна этих вечерних времяпровождений. Генеральша нашла существо, перед которым может не стесняться, перед которым может свободно вспоминать свою греховную молодость, – а эти воспоминания ей бесконечно дороги.

Таким образом, в раскладывании пасьянса и интересных разговорах незаметно проходит вечер. Генеральша смотрит на часы – уже полночь.

– Ну, матушка, спать пора, – говорит она Пелагее Петровне. – Позовите Анну.

Является Анна, старая девушка, изучившая так же хорошо, как и компаньонка, все привычки и привередничанья барыни. Она, вдвоем с Пелагеей Петровной, разоблачает генеральшу и убирает ее на ночь. Они снимают накладные букли, смывают белила и румяна со щек, краску с бровей и так далее. Генеральша отпускает их от себя и остается одна в своей просторной спальне, наполненной затхлым, во все вьёвшимся запахом косметики. Спальня освещена лампадой, горящей перед огромным, устроенным в виде иконостаса киотом, где размещены, по большей части старинного почерневшего письма иконы в массивных золоченых рамах. Некоторые из этих икон богато усыпаны жемчугом и драгоценными камнями. Этот киот представляет собою очень значительную ценность. Это наследие благочестивых предков.

Генеральша накидывает на себя что-то вроде темного бархатного халата, подбитого пожелтевшим горностаевым мехом. Как ни бледен отблеск лампы, но все же он достаточно озаряет фигуру старухи, жалкую и почти отвратительную фигуру, которую, конечно, не узнал бы никто из дневных посетителей, которую бы не узнали ни «mon frère», ни княгиня-дочь. Жидкие, почти совсем в иных местах вылезшие волосы спрятаны под ночным чепчиком, облегающим маленькую голову. Лицо сморщенное, дряблкое, старческое, с провалившимся ртом. Две вставные челюсти вынуты и лежат в чашке с водой на столике у кровати. Из-под накинутого бархатного халата выглядывают очертания иссохшей старческой груди и костлявые локти.

Генеральша подходит к киоту, опускается с легким стоном на мягкую подушку и начинает молиться. Провалившиеся, бледные, дрожащие губы беззвучно шепчут, большие черные глаза, окруженные глубокими морщинами, то совсем закрываются, то широко, с неопределенным выражением глядят на темные лики икон. Генеральша молится горячо. Она позабыла все, что занимало ее в течение дня. Забыла все новости, пересуды, все волновавшие ее мысли и ощущения. Она верит, искренно, всем сердцем верит в милосердие Божье. И она молит Его простить ее грехи, вольные и невольные, все ее окаянства и всю ее душевную мерзость.

Потом от молитвы за себя она переходит к молитве за всех людей, за всех близких и далеких, за всех грешащих, страждущих, заблуждающихся. Она любит людей и никакого зла в ней нет. Она молится за врагов своих. Но тут же у нее мелькает мысль, о том, что ведь врагов у нее нет. Если кто смеется над нею, завидует ей, порицает ее – разве это враги? И какое ей до этого дело!

Она успокаивается на мысли, что Бог непременно ее помилует, потому что зла, по крайней мере, вольного, она никому не сделала в жизни, а добро делала и делает сколько может. И мало-помалу она преображается в этой горячей молитве. Слезы текут по щекам ее, даже вся ее

старческая, костлявая фигура уже не поражает своим жалким безобразием; в ней, – что трудно было бы предположить в то время, когда она смывала белила и румяна и вынимала вставные зубы, – является даже какое-то благообразие, что-то почтенное. Молитва приносит ей новое наслаждение, более сильное, чем эти любимые разговоры с Пелагеей Петровной.

Она встает спокойная, ясная, укладывается на высоко взбитые пуховые перины своей широкой старомодной кровати, среди подушек и подушечек, которые размещает вокруг себя в привычном порядке и старается заснуть. Но это ей не скоро удастся. Старческие недуги, усиленные вредным образом жизни, который она ведет, дают себя знать. Они будто поджидали этот час, среди дня не поднимали голоса, а теперь, в тишине и спокойствии, которое царит вокруг, вдруг заговорили все разом, вдруг завозились и не дают покоя. То здесь ломит, то там колет, стреляет, томит и жжет. С тихим стоном поворачивается старуха с боку на бок, растирает свои иссохшие ноги.

Но вот, наконец, будто наскучив этой беспокойной вознею, старческие недуги притихают, и в спальне раздается мерное дыханье.

Генеральша заснула. Ее сон крепок и только изредка нарушается каким-нибудь сновидением, переносящим ее в старые счастливые годы, к молодости, к красоте и грехам, так давно и невозвратно улетевшим.

ХIII. Дядя и племянница

Рядом со странною жизнью генеральши протекала не менее странная жизнь ее брата, князя Еспера Аполлоновича Унжинского. Он был гораздо моложе сестры, лет на двенадцать, небольшого роста, сухой, с мелкими чертами лица, всегда гладко выбритого, с изумительно зачесанными коками подкрашенных волос. Он одевался по последней моде и очень молодо. От него за несколько аршин пахло духами. Ходил он вприпрыжку, как воробушек, и то и дело потирал руки, будто их намыливая.

Князь Еспер не знал матери, которая умерла, произведя его на свет. Отец мало обращал на него внимания, сестра тоже не им была занята. Вырос он, таким образом, в большом богатом доме заброшенным ребенком. Потом к нему приставили учителя, приготовили его кое-как в военное училище, но он не кончил курса, уехал за границу, скитался там несколько лет. Потом прямо поехал к себе в деревню. Это было уже после смерти отца. Как он жил, чем занимался – никто о том не знал. Сестра с ним почти не видалась. Наконец, когда она овдовела, он написал ей, что собирается на житье в Петербург, и она предложила ему поселиться у нее в доме. Так он и сделал. И с тех пор двадцать лет проживал здесь, изредка, на летнее время, уезжая в деревню и возвращаясь к осени.

Трудно было себе представить, каким образом прошла жизнь этого человека, какова была его молодость. Он никогда никому о себе не рассказывал. Он сидел дома иногда по целым дням, по-видимому, не искал развлечений, за исключением, впрочем, балета, который посещал довольно часто, хотя почему-то всегда об этом умалчивал. Между тем его никак нельзя было назвать нелюдимым. Очувтившись в обществе, он не бежал от него, а даже напротив, казалось, чувствовал себя очень хорошо, интересовался всем, о чем говорилось. И хотя был довольно молчалив, но если что-нибудь скажет, то всегда разумно. Он, видимо, льнул к очень молодым девушкам и дамам, подсаживался к ним, сладко улыбался, говорил комплименты; при малейшем знаке внимания с их стороны окончательно таял.

С разрешения генеральши он принял на себя обязанность заниматься с ее воспитанницами арифметикой и географией и самым аккуратным образом исполнял эту обязанность; не было примера, чтобы князь Еспер пропустил урок. Одно, чего он не любил, это присутствия на его уроках гувернантки, которую всегда удалял под каким-нибудь предлогом.

Отношение генеральшиних воспитанниц к князю было довольно странное. Говоря о нем, они всегда как-то особенно перемигивались, да и с ним обращались очень фамильярно. Впрочем, они, очевидно, его любили. Он их баловал, делал им подарки, иногда призывал к себе в мезонин и там показывал им разные интересные вещицы, давно-давно когда-то вывезенные из чужих краев, а также прекрасные художественные издания и гравюры, до которых был большой охотник. Иногда он читал им книги духовного и мистического содержания, в которых они почти ничего не понимали. Но так как эти чтения сопровождались угощениями, разными лакомствами, то девочки охотно на них собирались.

К сестре князь Еспер относился с большим почтением, целовал у нее руки, говорил ей «вы» и даже иногда называл ее «ваше превосходительство». Отношения его к племяннице, княгине Маратовой, были совсем иные. Он был с нею всегда предупредителен, но как-то не по-родственному. Иногда даже казалось, что он просто-напросто ее боится.

Между ними, хотя оба всячески скрывали это, была взаимная антипатия. Их никогда нельзя было застать вдвоем в откровенном родственном разговоре; иногда можно было прямо заметить, что они избегают друг друга, а сойдутся при посторонних – и ничего, никаких споров, пикировок между ними не было. Только княгиня иногда глядела на дядю Еспера с явным пренебрежением, почти даже с гадливостью. А он терялся под ее взглядами, ему становилось неловко. Он как-то съеживался и совсем замолкал. И это было тем более странно, что князь

Еспер, очевидно, был очень добродушный человек, не делавший никому зла, а, напротив, ставший всем быть приятным.

Кое-кто из близких к этому семейству людей, подмечая нечто странное в отношениях дяди и племянницы, говорили, что между ними есть старые счеты; но какие счеты, что такое – это никому не было известно.

Сама княгиня Маратова, несмотря на свою слабость к чересчур рассеянной светской жизни и чрезмерную толщину, над которой она сама прежде всех смеялась, была добрейшим существом и при этом женщина безупречной репутации.

В свете, где обыкновенно в изумительных подробностях знают не только всю подноготную ближнего, но даже такие обстоятельства, которых никогда и не бывало, ничего двусмысленного не могли рассказать и придумать относительно княгини. Она очень счастливо жила с покойным мужем. А когда овдовела, то не жаловалась, не выставляла напоказ своего горя – пережила его сама с собою. И по окончании траура снова появилась в свете, сделалась неизбежным аксессуаром каждого людного собрания. Роли никакой она не играла, не потому, что не могла играть, а потому, что вовсе этого не хотела. Она никогда не сплетничала, не злословила, никому ни в чем не вредила, умела со всеми ладить. Если в редких случаях к ней обращались за советами или за помощью, – советы ее были благоразумны, в помощи она никогда не отказывала. Такую женщину следовало очень ценить, но ее не ценили. Ее приглашали всюду, все были в изумлении ее не видя – но и только.

В доме она жила совсем особняком, ни во что не вмешивалась. В известный час аккуратно являлась в темный будуар матери, проводила с ней час-другой и затем исчезала. Иногда в ее помещении, по вечерам, собирались гости. Но это случалось не часто. Впрочем, несколько раз в зиму она задавала, с разрешения генеральши, большие обеды. Тогда парадные комнаты дома принимали праздничный вид, а двери в покои генеральши запирались на ключ.

– Я тебе не мешаю, *ma chère*, – говорила генеральша, – сделай милость, приглашай кого знаешь... Это хорошо, это следует, только чтобы я не слышала, ты знаешь, я не могу выносить шума.

Но запертые двери и спущенные тяжелые портьеры не пропускали никакого шума в темный будуар генеральши, которая в то время как в парадных комнатах шло веселье-пированье, занималась с Пелагеей Петровной обычным пасьянсом и обычными милыми воспоминаниями...

Как-то раз, около двух лет тому назад, княгиня в обычное время вошла к матери и после первых приветствий и неизбежного отчета о вчерашнем бале вдруг проговорила:

– Матап, мне нужно посоветоваться с вами относительно одного серьезного дела.

Генеральша тревожно взглянула на дочь.

– *Ma chère*, что это, что-нибудь неприятное?

– Не беспокойтесь, неприятного ровно ничего нет.

– Так говори скорее... *tu me fais peur*... у тебя такой серьезный вид...

– Потому что дело серьезное. Ведь вы помните, матап, что у моего покойного мужа был двоюродный брат Ламзин...

– Ламзин... *attends, ma chère... oui... je me rappelle*... помню... красивый такой офицер...

Но ведь он был не Бог знает что... Ламзин... Ламзин... *ce n'est pas un beau nom*...

– Но он был двоюродный брат моего мужа... Превосходный человек... и мой бедный Поль был с ним дружен. Этот Ламзин умер очень рано... оставив после себя молодую жену и дочь...

– А жена его... *sa femme, comment ce qu'elle est née?*

– *Ah, je ne sais pas au juste*... Петрова... Никитина... что-то в этом роде...

– *Mais alors elle n'est pas pee du tout!* – воскликнула генеральша с некоторым сожалением. Княгиня сдержала улыбку.

– Дело не в этом, тамап, – продолжала она. – Она была очень милая женщина, страстно любила мужа и, когда он умер, не могла сладить со своим горем, стала чахнуть и в двенадцатом году умерла в Москве, перед самым нашествием французов. Дочка ее осталась в одиннадцать лет круглой сиротой, с небольшими средствами. Приютил ее и воспитал дядя, брат матери. Девушку эту я знаю. Она прелестна собой и хорошо воспитана, я познакомилась с нею в последнюю мою поездку в Москву, где она жила с этим дядей. Я ее не выпускала из виду. Теперь она пишет, что дядя ее умер, что она одна, совсем одна. Я помню любовь моего мужа к ее отцу, я намерена взять ее. Что вы на это скажете, тамап?

– Что же я тебе скажу, – отвечала генеральша, – у меня вот постоянно шесть воспитанниц, отчего тебе не взять одну?!

Княгиня покачала головою.

– Нет, тамап, это совсем не то; я не хочу ее взять на правах воспитанницы, как вы это понимаете; я, насколько это можно, намерена заменить ей мать. Я ее полюбила, у меня детей нет.

– А, так ты, значит, хочешь ее сделать своей наследницей?

– Хоть бы и так, но я об этом еще не думала... Я ей пишу и зову ее жить со мною, так вот и хотела вас спросить, согласны ли вы на это, то есть согласны ли вы будете принять ее как родственницу?

Генеральша задумалась.

– Я ее приму так, как тебе будет угодно, – наконец сказала она, – ведь если она мне не понравится, тогда ей нечего ко мне и заглядывать – слава Богу, дом не маленький, всем место будет. Делай как знаешь, *ma chère!*..

– *Mersi, тамап,* – сказала княгиня и нагнулась поцеловать руку у матери, причем тучное лицо ее все побагровело. – Так я ей напишу.

– Пиши, *ma chère,* только, знаешь, ты бы поосторожнее, сразу не давай никаких обещаний, может, она и не стоит.

– Нет, я вряд ли в ней обманываюсь и я уверена, что она и вам понравится...

Таким образом решен был приезд Нины, и сама она явилась недели через три. Ей ничего не оставалось делать, как принять милое приглашение княгини, которую она хотя и не много знала, но считала хорошей женщиной...

Покойный дядя Нины, тот самый Алексей Иванович, который приезжал за нею в Москву во время французского нашествия, был добрый, но очень безалаберный человек. Он не только не устроил маленькое состояние племянницы, но даже расстроил его, так что теперь у Нины были крайне незначительные средства к жизни. Она явилась в тихий дом у Таврического сада, бледная, смущенная. Но княгиня сумела в самом скором времени привязать ее к себе и доказать ей, что она нашла нежданного и доброго друга.

Прошло полтора года. Нина, по-видимому, совсем привыкла к своей новой жизни. В доме ее все любят, по крайней мере выказывают ей это. Даже генеральша и та к ней особенно благосклонна, нередко призывает ее к себе и обращается с нею совсем иначе, чем со своими воспитанницами. Что же касается князя Еспера, то он просто благоговееет перед Ниной, и, к изумлению княгини, между ними мало-помалу начинает замечаться какая-то близость. Княгиня иной раз застаёт их в оживленной беседе. При ее входе князь Еспер замолкает, съеживается, избегает ее взгляда и вообще начинает держать себя так странно, что Нина смотрит на него с большим изумлением.

– Я, право, не понимаю, Нина, – как-то сказала княгиня, – о чем вы беседуете так часто с моим дядей?

– О многом, *ma tante!* Князь очень хороший человек и умен, и мне сердечно жаль, что вы как будто что против него имеете, как будто его не любите. Он замечает тоже, и его сильно огорчает. А он вас любит, *ma tante,* право, любит!

Княгиня нахмурилась.

– Видишь что, Нина, – серьезно говорила она, – если бы я тебя меньше знала, если бы ты была другая девушка, я бы с тобой стала иначе говорить, я бы должна была тебя предупредить не очень доверяться людям; но я тебя знаю и не скажу больше ни слова. Ты умна, ты благоразумна – я ни в чем не намерена стеснять тебя.

– Ma tante, да что такое, будьте откровенны со мною, скажите, что вы имеете против князя? Ведь это, наверное, какое-нибудь недоразумение, а недоразумение всегда следует разъяснить, в особенности между близкими людьми.

– Никакого недоразумения нет. И не будем больше говорить об этом.

Княгиня, даже несколько мрачно произнося эти слова, вышла из комнаты. Нина осталась в недоумении. Она сидела задумавшись, сдвинув свои тонкие брови.

А между тем сближение ее с князем Еспером и их оживленные разговоры tete-a-tete продолжались.

XIV. Что это значит?

На следующий же день после бала, еще не сделав в Петербурге никому визитов, Борис подъезжал к мрачному дому генеральши, перед окнами которого был настлан густой слой соломы. Но ни мрачный вид дома со спущенными шторами, ни даже эта солома его не смутили. Он уже знал генеральшу и образ ее жизни. Во время редких приездов Горбатовых в Петербург Татьяна Владимировна исполняла установившийся обычай, посещала генеральшу и возила ей напоказ своих детей.

Дворник, неизменно сидевший в будке, заметя подъезжавший экипаж, быстро выбежал и распахнул ворота. На просторном дворе стояло несколько экипажей, присутствие которых доказывало, что генеральша принимает. Но, поднявшись на широкие ступени подъезда, Борис должен был очень долго ждать, пока его звонок был услышан и двери растворились. Борис спросил отворившего ему швейцара, поражавшего своей старостью и в то же время внушительным видом, дома ли княгиня.

– Пожалуйте, сударь! – радушным, привычным тоном ответил швейцар. – Изволите пройти к их превосходительству, княгиня у маменьки... пожалуйте...

Делать нечего, пришлось отправиться по указанию. Сняв верхнее платье в просторной, но несколько закопченной и пропитанной каким-то особенно спертым воздухом передней, Борис вступил в ряд знакомых ему парадных комнат генеральши. Здесь все оставалось неизменным со времени его последнего посещения лет пять тому назад. Тот же полумрак от двойных спущенных штор, то же старинное симметрическое убранство, та же тишина, те же стоявшие в каждой комнате лакеи в вылинявшем одеянии.

Борис назвал себя, и лакеи стали передавать друг другу его фамилию, так что, когда он подошел к темному будюару, о нем уже было доложено хозяйке. Дверь перед ним бесшумно открылась, лакей придерживал над ним тяжелую портьеру. Борис очутился во мраке, который, несмотря даже на подготовительный полусвет остальных комнат, заставил его на мгновение остановиться, чтобы разглядеть хозяйку и на кого-нибудь не наткнуться.

– Est-ce bien vous, cher Борис Сергеевич? – расслышал он ласковый голос генеральши. – Вернулись к нам... нагулялись. Очень, очень благодарю, что навестили.

И она это говорила таким тоном, как будто он еще недавно был у нее, как будто он в течение трех лет своей жизни в Петербурге, перед отъездом за границу, не поступал крайне неприлично, не посещая ее, тогда как брат его, Владимир, являлся к ней аккуратно и даже в этой темной комнате встретился с графиней Черновой и задумал на ней жениться.

Борис наконец разглядел генеральшу на ее кресле, наклонился, поцеловал у нее руку и затем стал оглядываться, ища глазами княгиню, а главное – Нину. Княгиня была здесь. Она ему улыбалась всем своим милым, толстым лицом и протягивала ему руку. Но Нины не было.

Затем из мрака стали выступать мужские и женские фигуры гостей. Генеральша уже начала было высчитывать все титулы и чины предков Бориса, но оказалось, что представлять его присутствовавшим не было необходимости. Все это были знакомые лица с которыми он уже встречался вчера на балу у брата. Он очутился среди хорошо знакомого ему общества, покинутого им два года тому назад. Начались неизбежные вопросы о том, где он путешествовал, каково теперь настроение умов в Европе...

Он отвечал терпеливо, и терпение его было награждено. Его путешествие, в сущности, никого не интересовало, все были заняты иным, а именно вчерашним балом его брата. Появление Бориса прервало этот разговор, и теперь он скоро возобновился.

Генеральше отдавался самый подробный отчет о том, кто в чем был одет, что говорили великий князь и великая княгиня. Не забыта была, конечно, и Нина. Со всех сторон раздавались похвалы ей. Ведь с нею великий князь танцевал первую кадрили.

– Где же она, в самом деле, *ma chère*?! – обратилась генеральша к дочери. – Что она не идет?

– Она утомилась после вчерашнего бала... голова болит, – отвечала княгиня.

Извинение нашли достаточным. Оживленные толки и пересуды начались снова, и под шумок их княгиня шепнула Борису:

– А вы ко мне зайдете? Я ухажу.

– Непременно! – не без волнения проговорил он.

Княгиня вышла из темного будуара. Борис посидел еще несколько минут и стал прощаться.

– Не забывайте же меня, Борис Сергеевич! – ласково говорила ему генеральша. – Я так люблю ваших родителей и вашего брата, *et vorte charmante belle-soueur*...

Он отвечал, что будет возвращаться к ней часто. И на этот раз это была не одна любезная фраза. Он, действительно, надеялся часто возвращаться, если не в эту темную комнату, то в этот дом.

Он прошел на половину княгини. Здесь все совсем было иное. Большие окна, выходящие в сад, не были занавешены. В комнатах убрано кокетливо и со вкусом. Было светло и уютно. Много зелени, цветов. Одним словом – самая приятная и веселая обстановка. В небольшой гостиной, куда его провели, он увидел рядом с княгиней Нину, которая пошла ему навстречу с протянутой рукой и с очень смущенной, хотя и радостной улыбкой. Теперь, при дневном свете, она была несколько иная, чем вчера: все так же хороша, но его поразила ее матовая бледность и темные круги вокруг прекрасных глаз.

Тут же был и князь Еспер. Борис знал его давно, но никогда не обращал на него внимания. Князь Еспер, по своему обычаю, весьма любезно поздоровался с Борисом, но казался несколько смущенным и, проговорив две-три любезные фразы, своей воробыиной походкой, вприпрыжку, удалился из комнаты. Все чувствовали некоторую неловкость. Борис пристально вглядывался в Нину, и к его радости примешивалось какое-то грустное чувство, какое-то почти даже разочарование. Он совсем не так представлял себе эту встречу. Княгиня заговорила, стараясь вывести молодых людей из смущения.

– Ну, старые друзья, – сказала она, – извольте передавать друг другу события вашей жизни, а я вот присяду к этому столику и напишу письмо. Совсем забыла, что мне написать надо.

Она подошла к окну, у которого стоял стол, и принялась писать. Мало-помалу разговор завязался. Минут через десять и Борис и Нина знали уже всю внешнюю историю друг друга. Но оказалось, что для них эта внешняя история их жизни не представляла особенного интереса. Борису нужно было знать вовсе не то, где и с кем проводила Нина время. Ему хотелось, чтобы она ввела его в свой внутренний мир, чтобы она сказала ему, играл ли он такую же роль в этом мире, какую она играла в его внутренней жизни. Вчерашняя странная встреча, странные слова, которые они говорили друг другу, должны были показать ему, что ему беспокоиться не о чем, что он многое для нее значит, что она не забывала его. Но ему казалось, что вчера было совсем другое. Вчера был сон, а сегодня явь, так же как и тогда, много лет тому назад, утром после волшебной ночи в пустом доме. Беспокойное и грустное чувство, охватившее его, не проходило. Его смущало в Нине многое. Он чувствовал, что перед ним какое-то особенное существо и что У этого существа есть какая-то тайна, непонятная для него и мучительная.

От генеральши пришли звать княгиню.

Она оторвалась от своего письма и, уходя, сказала Борису:

– Я скоро вернусь, вы меня подождите!

Молодые люди остались одни. Борис еще раз пристально вглядывался в Нину. Она сидела перед ним бледная, с опущенными глазами, с выражением почти страдания на прелестном лице.

– Нина, – вдруг сказал он, – неужели мы будем вести с вами пустые разговоры – они не могут занимать ни меня, ни вас.

– Нет, конечно! – ответила она.

– Знаете ли вы, зачем я здесь?.. Знаете ли, что нужно мне спросить у вас?

Она вздрогнула и прошептала:

– Знаю...

– Да, вы должны знать. Я всю жизнь ждал нашей встречи. Ждал вас и ждал с полной уверенностью в том, что и вы меня ждете.

– Ведь я вчера сказала... – тихо, едва слышно прошептала Нина.

Его глаза заблестели. Он приподнялся в волнении.

– Так, значит, вы меня понимаете! – горячо проговорил он. – Вы знаете, что если мы встретились, то это не даром... мы дождались... И я вас спрашиваю, ошибался ли я или нет, надеясь... зная... да, зная наверно, что мы встретимся для того, чтобы никогда уже не расставаться, что мы с того самого дня существуем друг для друга... назначены друг другу... Да, да, Нина, я люблю вас, я никогда не переставал любить вас и никого не любил. Мне кажется, что этой огромной разлуки совсем не было и что нет в нас никакой перемены... Вы для меня все та же. Этого не поймет никто, меня сочтут безумным... Но вы должны понять... вы должны знать, что это так и иначе быть не может... Нина, отвечайте, отвечайте скорее, прав я или обманулся? Понимаете, что я должен знать это сейчас?!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.